



## НУРАЛИ КАБУЛ

### ЗДРАВСТВУЙТЕ, ГОРЫ!

*Перевод Д. Рубиной* Восходит солнце — тебя напоминает,  
Восходит луна — тебя напоминает,  
Чашобы, скалы, родники.  
Я у твоего подножья преклонил колени.

*Из народной песни*

#### Глава первая

— Зулайхо, очнешься ты от своих мыслей или нет? Ребята уже за дровами пошли, а ты все не торопишься!

Это мать. С самого утра она возится во дворе, поэтому в голосе ее слышатся усталость и раздражение.

— Иди собери немного дров, хватит у окна сидеть!

Ну вот, так всегда... Мать прерывает ее мысли на самом интересном. Конечно, можно было бы все додумать ночью, но Зулайхо засыпает, едва коснется головой подушки. И в школе нельзя помечтать о своем: там есть над чем ломать голову на уроках. А если задуматься, когда дрова в горах собираешь, то недолго и отстать от всех.

— Гаибназар с ними ушел, Зулайхо!

— Сейча-ас!

Гаибназар — сын Ташбуви-холы, он в этом году заканчивает седьмой класс. Для Зулайхо Гаибназар совсем как старший брат, ведь они выросли вместе и судьбы у них схожи: Гаибназар тоже сирота. Их дома стоят рядышком, на берегу веселого сая — резвой прозрачной речушки, которая начинается на Ойкоре и делит кишлак на две почти равные части. В обоих дворах протекает арык. Сначала он вьется по двору Гаибназара, потом сворачивает влево, во двор Зулайхо. В каждом дворе над арыком растет по карагачу с толстым стволом, с густой, раскидистой кроной. Во дворе Гаибназара под карагачем стоит старая деревянная сури, в жаркие дни соседи любят посидеть на ней, в тени дерева. Во дворе Зулайхо тоже есть низенькая ветхая сури, но, после того как на нее с карагача сползла змея, сидеть там никто не хочет. Только ее мать Энакиз ничего не боится — летом она часами стегает одеяла на сури, и солнечные блики скачут по яркой материи, по цветастому платку на голове матери...

— Не забудь веревку, слышишь, Зулайхо?

— Слышу-у!

Гаибназар старше Зулайхо на два года. Он совсем взрослый и очень сильный, поэтому никто из ребят никогда не посмеет обидеть Зулайхо. И дрова в горах они всегда собирают вместе. Гаибназар не успокоится, пока не наберет для Зулайхо целую вязанку.

— Долго эта девчонка будет возиться?! Горе мне, твои друзья уже до Ойкор дошли!

— Иду, иду! — крикнула Зулайхо и, схватив платок, выбежала во двор, на ходу весело махнув рукой рассерженной Энакиз. — Иду, мамочка!

Она надела платок, чтобы не напекло голову, и помчалась догонять ребят. Зулайхо любила этот скроенный из маминого старого платья платок. Любила, потому что от него всегда пахло матерью. Обычно, когда набиралось прилично дров, он, сложив платок вчетверо и подстелив его под вязанку, несла дрова на голове, не прикасаясь к ним руками. Это очень просто, надо только научиться держать ровно спину и голову. Однажды Гаибназар, утащив из дома платок Ташбуви-холы, попробовал проделать то же, что и Зулайхо. Можно было лопнуть от смеха, глядя, как он тщетно пытался водрузить на голову вязанку дров. Так он смешно балансировал руками и тарасил глаза, пока

наконец дрова не посыпались на землю. Здорово ему, бедняге, тогда влетело от матери за платок...

Странная эта тетя Ташбуви. То она ласковая и приветливая; в такие минуты позовет Зулайхо, сунет ей в руку два-три катышка курта — высушенного соленого творога — и долго смотрит в смущенное лицо девочки. Однажды она сказала ей:

— Аллах даст, станешь моей невесткой...

От стыда Зулайхо чуть сквозь землю не провалилась... Но чаще всего тетя Ташбуви сердится и кричит-причитает, жалуется на судьбу свою, проклинает сына, так что слышно во дворе Зулайхо. Иногда девочка приникнет к щели в заборе и наблюдает, как Ташбуви-хола хлопочет по хозяйству. Громкий раздраженный голос женщины разносится в полуденном воздухе над домами кишлака:

— Гну спину с утра до ночи, а ты растешь бездельником и шалопаем! Посмотрел бы отец, каким вырос его сынок, накажи тебя аллах!

Ну, разве можно говорить такие слова своему родному сыну?! Конечно, тете Ташбуви трудно приходится. После гибели отца Гаибназара она вышла замуж за мельника из соседнего кишлака. Но, видно, судьба у нее такая — вдовья. И второй муж скончался от какой-то болезни, не прожив с тетей Ташбуви и полгода. С тех пор никто ее замуж не брал, за глаза называя Ташбуви Несчастливницей. Казалось, она и сама уверовала в свой тайный злой рок и, находясь в постоянном напряженном ожидании несчастий, не скрывала обиды на жизнь, на соседей, на собственного сына.

Прошлым летом теленок, которого Гаибназар привязал в саду к яблоне, сорвался с веревки и высосал молоко у коровы. Что тут было! Какие только проклятия не сыпались на голову бедного Гаибназара! Зулайхо стояла за забором, и сердце ее сжималось от жалости к другу. Он, молча слушая причитания матери, привязывал теленка под навесом. А тетю Ташбуви его угрюмое молчание лишь сильнее распяляло, и в конце концов она схватила веник с явным намерением проучить мальчика...

Тогда Гаибназар метнулся к калитке и убежал во двор к Зулайхо. Он пробыл у них весь день, потому что боялся возвращаться домой. Вечером Энакиз усадила детей ужинать, Гаибназару налили мучной похлебки в большую деревянную пиалу. Он, оказывается, даже не

обедал в тот день и съел похлебку в один миг, не поднимая от пиалы головы, заедая все кукурузной лепешкой. Он ел, а Зулайхо разглядывала его, потому что в другое время не могла этого делать. Глаза у Гаибназара совсем не похожи ни на чьи другие — по его глазам можно все прочесть. И брови какие-то... необыкновенные. Длинные и густые. Так вот, когда Зулайхо медленно ела, рассматривая Гаибназара, она собственными глазами увидела, как по его лицу скатились две слезинки и капнули прямо в пиалу. Мать за разговором не заметила этого, а Зулайхо поспешно отвела взгляд от лица Гаибназара. Впервые он плакал при ней.

Потом Энакиз постелила курпачи — ватные стеганные одеяла — и уложила детей спать: Гаибназара справа от себя, Зулайхо — слева. Мальчик, сняв с головы тубетейку и сунув ее под подушку, бесшумно лег. Зулайхо знала, что он лежит с открытыми глазами. Его тоскливый взгляд был устремлен в окошко, где за мутным стеклом тусклыми светлячками мерцали звезды. Им дела не было до двух детей в маленьком, аллахом забытом горном кишлаке.

— Эх, Гаибджан, мальчик мой... — вздохнув, тихо проговорила Энакиз. — Ты не сердись на маму свою. Бедная она, бедная... Недаром в народе говорят: жена без мужа — что камень, на дороге брошенный. — Мальчик промолчал, но кивнул согласно. — Думаешь, легко ей одной управляться? — продолжала Энакиз. — Сам видишь: из сил она выбивается. Никакой радости в жизни. — В ее сдавленном, дрожащем от слез голосе чувствовалась тоска и горечь и своей одинокой доли. — Постылая, постылая жизнь...

Гаибназар слушал по-прежнему молча, и Энакиз ласково гладила его по голове, убирая со лба густые вьющиеся волосы.

На открытом его лбу стал виден небольшой шрам, тот самый, с прошлого года. Это Гаибназару память о драке с Касымом Бузотером, председателевым сыном. Несносный этот Касым драчлив и заносчив, никогда не упустит случая съязвить, крикнуть какую-нибудь обидную глупость. Вот и тогда весной... Гаибназар и Зулайхо позже обычного погнали скот на пастбище: Энакиз замешкалась, не успела подоить коз, и девочке пришлось ждать, пока мать управится. А Гаибназар никогда без Зулайхо не уходил. Он стоял возле ее калитки и, сдвинув тубетейку на затылок, шурясь от

весеннего, но жаркого уже солнца, вычерчивал опущенным кнутовищем замысловатые узоры в пыли. Мимо гнал баранов Касым.

— Э-эй, дрыхнешь, безотцовщина? — крикнул он, щелкая кнутом.— Другие, которые порядочные, шесть раз уже свои стада накормили!

— Придержи язык, Касым! — бледнея, ответил Гаибназар.

— Ты моему языку не хозяин, безотцовщина голоштанная! — еще громче крикнул тот.

Зулайхо видела как они сцепились, как в пыли катался клубок из двух мальчишеских тел. Кнуты валялись тут же, переплетаясь веревками. Девочка с визгом помчалась на улицу разнимать дерущихся, но Касым успел вскочить на ноги и, подобрав небольшой острый камень, бросил его в голову Гаибназара. С лицом, залитым кровью, взбешенный Гаибназар догнал удирающего Касыма, опрокинул его на землю и несколько раз ударил кулаком по лицу. Неизвестно, чем бы кончилась эта драка, если бы со двора, громко ругаясь, с толстым прутом в руках к ним не выбежала Энакиз...

Что творилось, когда Гаибназар домой вернулся,— страшно сказать! Оказывается, прибежала мать Касыма, председательша, и заходилась в крике, и сыпала угрозами, и припоминала всех предков Гаибназара, так что те, наверное, на том свете на другой бок перевернулись. Бедная тетя Ташбуви, чего ей только не пришлось выслушать! Понятно, едва Гаибназар появился во дворе, на него обрушились проклятия, которые мать с горечью копила весь день. Не умолкая ни на минуту, Ташбуви-хола достала сажу из казана и, смешав ее с маслом, приложила ко лбу сына. Гаибназар тогда целую неделю ходил с завязанной материнским платком головой. А сейчас вот лишь шрам остался, небольшой, белый, чуть выше левой брови...

Гаибназар говорит: «Сердце без огня, что безжизненная почка на ветке». И кто его таким словам научил? Смешной, он никогда не зовет Зулайхо по имени. Он зовет ее Каракоз — Черноглазая. Каракоз да Каракоз... Ну, разве это имя? А все потому, что глаза у Зулайхо черные-пречерные. Прозвище словно приклеилось к ней. Сначала в школе ей стали кричать «Каракоз!», а теперь уже во всем кишлаке так зовут. Даже мать нет-нет да скажет:

— Каракоз, дочка...— И спохватится и долго потом,

улыбаясь, качает головой.— Вот уж дал имя, негодник! Само на язык просится...

И почему она все время думает о Гаибназаре? Конечно, он добрый и столько хорошего сделал для нее, но все равно — разве можно о нем все время думать?!

...На луну в окне напоззло легкое рваное облачко, и она стала похожа на головку козьего сыра, прогрызенную мышами... Спит мама, спит Гаибназар, на сельском кладбище вечно спит отец. Только Каракоз никак не заснет. В детстве мама убаюкивала ее песнями. Негромко, размеренно звучал ее голос, и песни все были тихие да печальные. Мамин голос — так чудилось девочке — просачивался на свободу сквозь дверные щели, и улетал на кладбище, и вился, вился маленькой птицей над отцовской могилой...

Мать еще в детстве показала ей могилу отца. Небольшой убогий холм виден из мутного окошка их дома. Каракоз могла часами сидеть у этого окна и смотреть на могилы. Иногда она разговаривала с отцом о своих делах, шепотом, конечно, чтоб не слышала мать. Подоконник, гладко отполированный локтями Каракоз, был для нее родным. В скучные зимние вечера, в свободное от домашней работы время она думала об отце, разглядывая замысловатые снежные лапы на стекле. Отец, как рассказывала мать, тоже любил сидеть у окна и смотреть на кладбище и часто с грустью повторял: «Смерть права. Всем нам суждено вернуться в эту землю...»

Мать считает, что Каракоз очень похожа на отца, особенно брови и глаза. Больше всего сходство заметно, когда Каракоз сердится... Ах, как бы она хотела взглянуть на живого отца — хоть на минуточку, хоть краешком глаза! А о нем и не с кем поговорить. Соседи прячут глаза, вздыхают, молчат. Да и мать запретила ей спрашивать об отце.

Каракоз, как ни старалась, так и не смогла вникнуть в смысл этих холодных жестких слов: «Чуждый элемент». Отец никогда не занимал высокой должности, он был просто очень трудолюбив, всегда был занят работой, поэтому даже в самое тяжелое время у них на дастархане хватало хлеба.

Мама говорит, что во всем виноват этот человек — Юсуф-Дум\*, председатель кишлачного Совета. Он еще

---

\* Дум — прихвостень, лакей.

в молодости на отца злобу затаил. Верно, острый отцовский язык не давал ему спать спокойно. Рассказывают, что однажды на поминках отец, задетый за живое грубостью Юсуфа-Дума, сказал ему при всех: «Мулла Юсуф, а вы, видать, позабыли, как при царе были начальником налоговщиков? Как русских приставов по кишлаком возили, как охотились с ними в горах на кекликов? Теперь вы главный борец за бедняцкую правду, а? Видать, у Советов грудь широкая, всех вместит?»

Юсуф-Дум промолчал, лишь взгляд его маленьких, глубоко посаженных лисьих глаз жег отца ненавистью. Юсуф-Дум ушел с поминок, ни с кем не прощаясь. Люди качали головами, переговаривались между собой: «Удивляемся мы на Шодмонкула! И охота ему связываться с этим негодяем! Ведь Юсуф и подлость может подстроить бедняге...»

Люди как в воду глядели. Не прошло и месяца — отца забрали, обвинив его в том, что он «возглавил кампанию борьбы против колхозного строя, подрывая авторитет коммунистов-руководителей».

...Вернулся отец иссохший, харкающий кровью, с больными легкими. Он вернулся умирать. Возможно, отцу суждено было умереть молодым. Если так, то все-таки хорошо, говорит мать, что он умер дома, а не в чужих холодных краях, что лежит в родной земле и из окна собственного дома видна его могила...

Прежде Каракоз часто думала: «Если б не родился на свет этот проклятый Юсуф, не была б я сиротой. И как это аллах позволяет ходить по земле таким извергам?.. — Она облакачивалась на подоконник и мысленно укоряла отца: — Ну зачем, зачем вы сказали ему те слова? Почему не сдержались? Ведь знали же вы, отец, что это за человек! Нозик-мома говорила о нем: «Юсуфу-Думу и духовный отец не станет другом, никто не угадает, что затевает он в своем черном сердце...»

Сидишь так, сидишь у окна и не заметишь, как уснешь. А мама шьет что-то и напевает. И ее негромкий голос ласково овеивает склоненную во сне голову Каракоз, ее пушистые ресницы. То ли наяву звучит мамин голос, то ли во сне. И представляется он маленькой тоскливой птицей, что вьется без устали над отцовской могилой.

Даст ли тень в знойный полдень  
высохшее дерево!

Приласкает ли прохожий  
одинокую сироту!  
Пусть я буду тенью  
от высохшего дерева,  
Пусть я буду лаской  
для одинокой сироты.

## Глава вторая

Тетушка Энакиз порой вздохнет тихонько: «У кого нет сына, у того нет счастья». А Мать Гаибназара частенько ворчит: «Нет дочери — нет близкого человека...» Обе они, наверное, правы.

Гаибназар любит мать, хоть ему нередко от нее попадает в пылу раздражения. Но даже в такие минуты душа его наполняется жалостью к ней. Поскорей бы стать совсем взрослым, зарабатывать на жизнь, так чтобы мать ни в чем не нуждалась и успокоилась наконец, рассталась со своей вечной тоской о несбывшемся счастье. Он бы помогал и тете Энакиз с Каракоз. Ведь ближе у него никого нет.

Недавно бригадир Сулайман-ака пообещал:

— Поговорю-ка я с председателем колхоза, пусть поставит тебя учетчиком в мою бригаду.

Вот будет здорово, если это получится! В счетном деле Гаибназар понимает хорошо, он бы справился.

По вечерам его мать исподволь заводит разговоры, от которых замирает сердце и пьянящее тепло разливается по телу.

— Тебе сейчас надо подыскать работу получше,— говорит мать,— скоро деньги понадобятся. Не сегодня завтра женишься. Калым, да свадебные расходы, да приданое для невесты — ох, деньги, деньги...— Она качает головой и бормочет что-то про себя, еле слышно.

В этом году Каракоз заканчивает седьмой класс. Она постарше своих одноклассников, и, когда все ребята гурьбой возвращаются из школы, Каракоз можно узнать издали: она и ростом повыше, и походка у нее иная, чем у других девочек,— походка взрослеющей девушки.

Перед началом учебного года Гаибназар, как всегда, отдал свои учебники Каракоз. «В последний раз,— подумал он,— вот и выросли...» И твердый комок застрял у него в горле, и почему-то он долго не мог сглотнуть его.



В тот день Гаибназар волновался так потому, что впервые принес Каракоз подарок. За этим маково-алым платком он ездил специально в район. Но дело было не в самом платке. В один из четырех уголков он завязал небольшой клочок бумаги, над которым просидел полночи. И теперь Гаибназара волновало единственное: заметит Каракоз узелок на память или придется показать ей на него самому?

Когда Каракоз взяла в руки подарок, щеки ее заалели поярче, чем сам платочек. Впервые в жизни она приняла подарок. Смущенно-радостно улыбаясь, Каракоз развернула платок, раскинула его на коленях, разгладила.

— Ой, смотри! — она заметила узелок.

Гаибназар вспыхнул и, не зная, куда деваться, забормотал:

— Как бы там... теленок... не отвязался... — и пулей выскочил во двор.

Чернее черного твои глаза,  
Мучают мое сердце.  
Пушистые твои ресницы  
Не скроют этих глаз...

Еще не до конца понимая смысл бесхитростных строк, она почувствовала, что они гораздо дороже для нее, чем платочек. Несколько минут Каракоз в оцепенении смотрела на четверостишие, написанное рукой Гаибназара, и вдруг вскочила и поспешно спрятала бесценный клочок бумаги среди книг.

С чего это он решил написать стихи? Неужели сам сочинил? Неужели... влюбился?! Любвы! Нет, даже думать неловко. Интересно, у всех ли она бывает? И сколько раз за всю жизнь может любить человек? Вот, например, покойный мулла Намаз-бай женился четыре раза. Значит, его бедное сердце в ожиревшем туловище было переполнено любовью ко всем женщинам!..

Бедняга Гаибназар, ведь это нелегко: любить кого-нибудь. Недаром он красный, как первый весенний мак, выбежал за калитку — якобы на теленка взглянуть. Какие могут быть телята в голове у влюбленного человека?..

А она сама? Почему она так часто думает о Гаибназаре? Конечно, он нравится ей, нравится больше других. Но можно ли это назвать любовью? Конечно, нет!

Любовь, наверное, совсем не такая. Во всех сказках, во всех легендах влюбленные гуляют в весенних садах, среди цветов, они побеждают чары злых волшебниц, им напевают райские песни звонкоголосые птицы... А Каракоз с Гаибназаром что? Дрова собирают, овец пасут — ну, какая это любовь!..

Но в горах тоже здорово. Если подняться на Коккутан и громко крикнуть: «Здравствуйте, го-о-ры! Мы пришли-и-и!», то горы в ответ прогрохочут: «Добро пожалова-ать!»

— Эй, Каракоз! Держи его, держи! Полюбуйся на этого беспризорного, он с привязи сорвался! Да лови же его, проклятого!

Каракоз, размечтавшись, не сразу выбежала на крик матери. Козленок отвязался, нашел козу и вволю насосался молока. И теперь весело гонял по двору, не давая схватить себя.

— Проклятье, разрази тебя гром! Остались без вечернего молока...— Энакиз, измученная ловлей маленького преступника, тяжело дышавшая, с разлохмаченной седой головой, растерянно смотрела на дочь.— А я хотела отнести молочную кашу дочери Мехри-холы, она родила недавно... Как на грех, мука кончилась, а то бы приготовила мучную похлебку...

— Может, попробовать подоить? — сказала Каракоз.— Авось хватит на кашу. Где посуда?

Она не доила козу с прошлого года, и руки ее отвыкли от сосков. Тот год был засушливый, жаркий. Однажды утром Каракоз, как всегда, подоила козу и, перед тем как погнать ее на пастбище, крепко завязала вымя. Вечером коза примчалась домой. Рогами распахнув на бегу ветхую калитку, она то бросалась в арык, стараясь погрузить вымя в воду, то судорожно выскакивала и терлась им о землю. Когда встревоженная девочка подбежала к козе, сердце ее замерло в испуге: два варана величиной с ладонь присосались к вымени козы.

— Неси скорее щипцы для углей и положи их на очаг! — крикнула мать.— Тысячу раз говорила тебе: завязывай крепче вымя!

Коза каталась по земле, жалобно бляя. Раскаленными щипцами мать отодрала присосавшихся к вымени варанов. Изо рта у ящериц брызнуло молоко. Каракоз

поспешно отвернулась, чтобы не стошнило. После этого случая они чуть ли не месяц выливали надоенное молоко, а для козленка брали молоко у козы тети Ташбуви.

С тех пор Каракоз никак не могла заставить себя подойти к козе. Но сейчас мать выглядела такой расстроенной и уставшей, что девушка пересилила себя и принялась доить.

Соски козы стали крепкими — так всегда бывает после того, как вараны сосут молоко. Коза стояла покорно и глядела на Каракоз совсем человеческими добрыми глазами, будто извиняясь за то, что не смогла уберечь молоко от собственного козленка. Соски ее покраснели, молоко из вымени даже не капало. Вздыхнув, Каракоз покачала головой и, сполоснув холодной водой вымя козы, бросила ей в кормушку очистки...

С тех пор как Гаибназара взяли учетчиком в зерноводческую бригаду, дела обеих семей стали поправляться. В этот сезон он выписал Энакиз-хола заработок сполна. Обрадованная женщина взяла у колхоза десять пудов пшеницы. Да еще пуда два зерна осталось от прошлого урожая. Аллах даст, со всем этим они дотянут до будущей жатвы. К тому же Энакиз продавала на базаре кислое молоко, и тогда у них появились деньги на полкилограмма, а то и килограмм мяса и на сахар.

Каракоз не любила ходить на базар. Стеснялась. Бывало, возвращаясь из школы и увидев мать, идущую с базара, она замедляла шаги и отставала. Ей было стыдно. Казалось, кто-нибудь из сверстников-забияк назовет сейчас ее мать торговкой.

Все чаще Ташбуви-хола заговаривала о том, что заработки у Гаибназара стали приличными, что он совсем взрослый и серьезный парень, что пора его, должно быть, женить. Каждый раз, едва Ташбуви-хола заводила об этом разговор, Каракоз внутренне напрягалась, лицо ее делалось непроницаемым, глаза прятались под опущенными ресницами. Она быстро и неслышно выходила из комнаты и потом несколько дней избегала встреч с Гаибназаром... Дни шли, а четыре строки его стихотворения оставались без ответа. Каракоз была в смятении. Все валилось у нее из рук, все чаще она задумывалась так, что не отзывалась на оклики матери.

— Каракоз, проснись! На ходу засыпаешь! — сердилась мать. Она не знала, что творилось в душе дочери.

Сколько ни придумывала Каракоз, как ответить на стихи Гаибназара, ничего не получалось. Наверное, она такая глупая и совсем еще маленькая, раз не может достойно ответить парню. Конечно, Гаибназар окончил семилетку, он взрослый и уже самостоятельный. Даже Ташбуви-хола стала относиться к сыну иначе — не кричит, не проклиняет судьбу. А что Каракоз? Школьница...

Самым неприятным было то, что с недавнего времени к ним в дом зачастила Мастон-хола, жена маминного брата Самандара. За высокомерный и вздорный характер в кишлаке его звали Самандар Холодный. Каракоз опасалась, что Мастон-хола повадилась к ним неспроста: уже давно она подыскивала невесту своему сыну Камариддину. Заговаривала тетя Мастон издали, похваливала сына, расписывала, как хорошо и сытно будет ее будущей невестке в доме Камариддина. Наконец в один прекрасный день она выложила все начистоту.

— У вас единственная дочь, Энакиз! — Полное лицо Мастон-холы расплылось в лучезарной улыбке так, что глаза превратились в щелки. Такие щелки-бойницы на сторожевой башне, бойницы, за которыми затаилась опасность.— Общими руками мы берем ее у вас. Захотите — отдадите и не захотите — отдадите. Лучше нам провалиться, чем искать невест по чужим дворам, когда в своем же роду такая красавица подросла!

Каракоз в это время в прихожей снимала с гвоздя под потолком связку сушеного перца для мясного супа. Услышав эти слова, она едва не свалилась с сундука, на который встала, чтобы дотянуться до перца. Ей захотелось выбежать во двор, броситься в дом Гаибназара, спрятаться там, но девушка пересилила себя и замерла, прислушиваясь к ответу матери.

— Что вы, милая Мастоной, Каракоз совсем еще девочка,— донесся из комнаты сдержанный голос матери.— Пусть школу окончит, а там видно будет...

— Я надеюсь, это не отказ, милая Энакиз, а только отсрочка? У вас единственный брат, не годится портить с ним отношения. Единственный дядя у Каракоз. Недаром говорят: один дядька семерых отцов заменит... Не отказывайте нам. Да не радуются наши враги!

— Каракоз еще слишком молода, — повторила мать.— А женихи... Что ж, женихов много, но мужа надо выбирать одного. Пусть у сердца своего спрашивает. У меня одна дочь, я хочу ей счастья...

В комнате повисла напряженная пауза. Потом ста-

до слышно, как зевнула Мастонохола и небрежно, словно невзначай, заметила:

— Говорят, сын Ташбуви Несчастливицы поглядывает на вашу дочь? Как бы чего не случилось, милая. Знаете, как оно бывает... А потом приходится пенять на себя...

— Что вы, Мастоной! — воскликнула мать возмущенно.— Если кто-то и болтает глупости, то вам уж такие слова не к лицу! Сын моей соседки смиренный как барашек!

— Как барашек смиренный или как козел, мне нет до этого дела... Я говорю: пеняйте потом на себя. Проморгаете, а кому будет нужен подержанный товар?

Каракоз, глотая слезы, выскочила во двор и забежала в ветхий сарай, где у них хранились дрова. Опустившись на чурбан для колки дров, она зарыдала уже открыто. И, как это часто бывало, в горьком тумане заплаканных глаз сначала смутно, потом все ясней проступило лицо отца, каким она его себе представляла.

«Вот видите, отец, каково нам живется... Нет в доме мужчины — и любой может обидеть нас. Если бы тогда вы сдержали себя и промолчали, не вывел бы вас в «чуждые элементы» этот проклятый Юсуф-Дум...»

И по обыкновению, отец вначале молчит, грустно опустив голову, потом негромко и ласково отвечает ей:

«Что поделаешь, дочка, говорить правду — у нас в крови».

«И вы не пожалели нас с мамой?.. Были бы вы живы, разве посмела бы эта Мастонохола обидеть маму? Прежде она и по праздникам к нам не заглядывала, а теперь явилась: отдайте дочь за нашего распрекрасного сына. За дубину эту, за Камариддина!»

«Не огорчайся, дитя мое. Будь терпелива. Если вначале судьба немилостива к человеку, то в конце обязательно ниспослет удачу...»

Зыбкое лицо отца печально, вот-вот растает, исчезнет, и Зулайхо ловит каждое его слово, жадно вглядываясь в дорогое видение.

«Я ведь тоже рос сиротой, дитя мое. Наверное, на роду у нас это написано... Не печалься. Кто поднимает руку на безвинного, не остается безнаказанным в этом мире».

«А знаете, отец, на наше счастье, соседи очень помогают нам. Тетушка Ташбуви и... у нее сын... Гаибназар, мы друзья...»

«Что ж, солома из рук близкого лучше, чем зерно из чужих рук. Лучше хороший сосед, чем плохой родственник».

«Мама говорит, что мои глаза похожи на ваши, отец. Поэтому если я иду по улице, то широко-широко открываю их: пусть видят все — я ваша дочь! А однажды на мельнице, когда относил мешок с зерном, я слышала, что бригадир Сулайман сказал своему спутнику: «Посмотри, как дочь Шодмонкула похожа на него!» А тот вздохнул в ответ: «Хорошие люди долго не живут. Пропал, бедняга, ни за что». Я ждала, чтобы они еще что-нибудь сказали о вас, отец, но они взвалили на спины мешки с мукой и ушли...»

«Пусть всю мою жизнь аллах отдаст тебе и твоим детям, дитя мое».

«Но неужели правда, что хорошие люди долго не живут?»

«Хорошие люди всегда бывают безоружными, поэтому быстро находит их пуля, поэтому быстро ранит их душу каждое горькое слово, доченька. Что бы там ни было, от плохого человека остается плохая память, от хорошего — хорошая. Старайся быть достойным человеком».

«Я верю, что обязательно встречу с вами, отец! И бабушка Нозик мне говорила об этом. Еще она сказала, что каждый человек родится снова через семь или четырнадцать поколений. И если в первой жизни он жил мало, то во второй непременно доживет до старости, и если в первой жизни был несчастлив, то во второй ему обязательно посчастливится. Бабушка Нозик сказала, что во втором рождении я не буду сиротой. А у вас, отец, родится много детей! Так она сказала, Нозик-мама, и я ей верю, потому что за свою долгую жизнь она никогда не обманывала».

«Правда, дитя мое, правда, я знал Нозик-мому еще мальчишкой, и мне она рассказывала все это...»

...Пронзительно-визгливый голос Мاستон-холы проник в сарай:

— Да провались ты вместе со своей строптивой дочерью! Нищему бродяге отдай, прокаженному отдай — делай, что хочешь! Чтоб ты светлого дня не видела, чтоб твоя неблагодарность против тебя и обернулась! Самандар тебе не брат, ты ему не сестра! Попробуй еще прийти к нам с какой-нибудь просьбой!

Хлопнула калитка, и некоторое время, пока Мастон-

хола шла вдоль их забора, проклятья еще слышны были во дворе.

Энакиз, сидя на пороге, плакала. У ее ног лежал вечно голодный, но неунывающий пес Олапар и, поминутно поднимая голову, смотрел в сторону сарая.

Каракоз вышла, медленно опустилась возле матери и обняла ее за шею... Тихо было во дворе, лишь на сломанной ветке старого абрикоса поддакивал чему-то угод. Мать плакала безутешно, и столько было в ее слезах горькой обиды — не на скандальную Мастоу, а на свою судьбу, — что успокаивать ее казалось делом бесполезным. Каракоз только прижалась к матери крепче и тоже заплакала.

Они просидели так долго, пока солнце не скрылось за вершинами Ойкора. С гор стали возвращаться сборщики дров. Вот за жердями изгороди появился серенький ослик Гаибназара. Энакиз поспешно поднялась и, взяв кувшин, подошла к арычку. Калитка открылась, и во двор, приветливо улыбаясь, шагнул Гаибназар с большой вязанкой дров.

Но, увидев тетушку Энакиз, умывающую над арыком заплаканное лицо, взглянув на застывшую на пороге Каракоз, он остановился как вкопанный. Каракоз вскочила и бросилась в дом. Гаибназар, свалив на землю дрова, пошел за ней. Тихо сел рядом, осторожно повернул к себе ее заплаканное лицо.

— Что случилось, Каракоз? Кто обидел вас?

Она молча ткнулась лицом в его рубашку, пахнущую полевыми травами и потом.

— Я никому не дам тебя в обиду. Скажи мне, Каракоз, кто посмел? Скажи!

Но она лишь покачала головой и тихо утирала слезы краешком платка, подаренного ей Гаибназаром. И не было у него слов, чтоб утешить ее, успокоить, а было только сердце, нежно любящее ее, и руки, готовые заслонить ее от всех горестей на свете...

## Глава третья

Перед новым сезоном Гаибназара сняли с должности учетчика. Может, провинился в чем-то — говорят, кто не работает, тот не ошибается... Бригадир Сулайман-ака вначале плечами пожимал, но после того как

поговорил с председателем колхоза, объяснил Гаибназару хмуро, нехотя:

— Что за люди, ей-богу! Не спится им спокойно, если у кого-то дела идут на лад... Ну, Юсуф-Дум, этот — понятно! Он свой поганый нос в каждый дом сунет, где плов готовят. Но Самандар Холодный-то чего на тебя взъелся?.. — Он еще раз пожал плечами и добавил: — И тот и другой в один голос: «Сопляк он еще, молоко у него на губах не обсохло — людям зарботки подсчитывать. Поговорите с каждым — люди недовольны им». А председатель что! Он к аксакалам прислушивается.

Дома Гаибназар сказал матери:

— Ничего, так даже лучше. Теперь примусь за настоящее дело.

Ташбуви вздохнула, нагнулась над шитьем, перекусила нитку и проговорила невесело:

— Из кожи вон не лезь. Люди найдут за что выбрать. Все равно никто спасибо не скажет.

Сулайман-ака, который относился к парню с симпатией, взял его в свою бригаду косарем. И Гаибназар вздохнул свободно. Ему нравилось выходить из дому еще затемно и приходить поздно, нравилось даже, что к вечеру тело, налитое усталостью, казалось многопудовым, и плохо слушались руки, и разламывалась спина. Любовь ко всему, что связано с зерном, с хлебом, с тяжелым трудом, жила в нем давно, может, с детства, с того жаркого, иссушающего все живое лета...

Мальчику шел тогда одиннадцатый год. Время было голодное: второе неурожайное лето свело на нет все запасы в каждой семье. Гаибназар с матерью голодали. Через день Ташбуви плелась на базар продавать свежее или кислое молоко и на вырученные гроши покупала немного ячменной муки, которой хватало лишь на жидкую похлебку. В тот год не было дня, чтобы они наелись досыта. Мать вообще чудом дотянула до весны, ведь часто она почти насильно заставляла сына съесть ее долю. Гаибназар глотал куски грубой, жесткой лепешки, давясь слезами, боясь поднять глаза на мать. В те жуткие месяцы она ни разу не крикнула на сына: то ли сил не было, то ли, страшась смерти, не хотела оставлять о себе плохую память.

Вечерами, чтобы хоть немного развеселить голодного сына, она рассказывала ему сказки. Сказок мать



знала немного, поэтому каждая повторялась в неделю по несколько раз. Особенно волновала воображение мальчика сказка о богатыре Эрдан-чукки. И когда мать заплетающимся от слабости языком, еле слышно напевала песню колдуньи, Гаибназар, в ужасе зажмурившись, представлял себе жуткую старуху — одноглазую, с зубами как пила, с жуткими руками-крючьями. Ослабевшая от недоедания мать путала слова, умолкала, снова начинала рассказывать, забыв, на каком месте остановилась. И тогда, не желая мучить ее, мальчик притворялся спящим. Мать тоже вскоре засыпала, бормоча молитвы бесцветным, однообразным шепотом, а перед его взором, необыкновенно живая и зловещая, вращая красным воспаленным глазом, лязгая зубами-пилами, вставала колдунья и, похохатывая, потирая руки, принималась петь:

Дома ли Эрдан-чукки?  
Сосновая палка в руках ли?  
Алмазный меч на поясе?

Они с трудом дожили до весны. Перед жатвой мать пошла кланяться бригадиру Маткабилу.

Дома у Маткабила застала его жену Барчин. Она встретила Ташбуви неожиданно приветливо:

— Заходите, Ташбуви, давно не видела вас! Как сынок, как поживаете?

Может, чуяла хваткая Барчин: Ташбуви отдаст все, что у нее осталось, и саму себя в придачу, лишь бы ее мальчик больше не голодал.

— Плохо, милая, едва не умерли мы зимой от голода,— поделилась Ташбуви, пытаясь разжалобить жену бригадира.— Если сейчас, летом, не накопим хоть немного зерна, положение наше совсем будет плачевным. Я слышала, детей берут на молотьбу?

— Как сказать...— замялась Барчин.— Знаете, каждый хочет своего сунуть.

— Милочка Барчиной, моему двенадцать исполняется,— горячо заговорила Ташбуви, прибавив сыну на всякий случай год.— Вот пришла я просить Маткабилджана, чтоб взял моего. Замолвите словечко, родная.

— Ох, Ташбуви, не знаю, что и сказать вам. У моего хозяина голова кругом идет. Вчера четверым отказал. У всех подсушил силы этот проклятый голод. Каждый бы хотел, чтоб и дети подработали на зиму.

Отчаявшаяся Ташбуви готова была встать на колени перед женой Маткабила.

— Все ваши болезни пусть станут моими, Барчиной! Одно ваше слово! Сколько слез я пролила, прежде чем прийти к вашему порогу! Скажите мужу: на любую работу согласны. А я для вас все сделаю, что ни скажете.

— Ладно, — вздохнула Барчин, сдаваясь. — Попрошу. Может, не откажет. В этом мире нужно помогать друг другу.

Правда, это «может, не откажет» обошлось недешево. Пять месяцев Ташбуви сучила нитки для Барчин. Как говорится, за все на этом свете надо платить. Ташбуви сучила нитки и благословляла судьбу.

Рано утром бригадир Маткабил, посадив Гаибназара на свою лошадь позади себя, повез его на поле. Главный на току Шербута-ака, приземистый плотный мужчина с крючковатым носом и маленькими юркими глазами, подвел мальчика к худой кляче грязно-гнедой масти и велел садиться.

Радости Гаибназара не было предела. Солнце весело палило с синего-пресинего неба, вдали вздымались бело-голубые вершины Ойкора, пахло травами, лошадиным потом, близкой речной водой... Но ближе к полудню радость мальчика стала меркнуть. Голову напекло, и она кружилась, пот стекал со лба и пощипывал веки, спина болела. Взрослые мужчины, сдвинув арбы, сели обедать в тени деревьев. Дети же без разрешения Шербуты-ака не имели права слезать с лошади. Гаибназару уже хотелось соскочить скорее с этой гнедой клячи, которая плохо слушалась, и бежать без оглядки в кишлак, к матери, но, вспомнив мать и ее взгляд, каким утром она провожала его на работу, мальчик сдержался.

Наконец Шербута-ака встал и, вытирая ладонью измазанные жиром и айраном губы, крикнул ребятам:

— Выводите лошадей на водопо-ой!

Перед тем как напоить лошадей, измученные, опаленные до черноты солнцем дети выстроились цепочкой за своей долей: повар давал каждому по половине кукурузной лепешки и куску мяса. Гаибназар пристроился сзади, последним — он работал здесь первый день и сильно робел и перед взрослыми, и перед ребятами постарше. Голодный, с блестящим от пота лицом, он стоял и, облизывая шершавым языком сухие, потрескавшиеся губы, жадно следил за сноровистыми руками повара: раз! — пол-лепешки и на ней, сверху, кусок мяса;

два! — пол-лепешки, кусок мяса; три! — пол-лепешки, кусок мяса...

— Вай, беда, не хватило тебе мяса...— Дородный повар Саттар-ака разводил руками и сокрушенно тряс головой. Гаибназар поднял на него глаза и увидел только темное пятно полного лица и покачивание — туда-сюда — тюбетейки, обвязанной выцветшим поясным платком.— Не повезло, пострел! Ну, не расстраивайся, завтра получишь побольше.—И протянул ему горсть нарезанного лука, оставшегося от обеда взрослых. — Напоите лошадей и заодно сами напейтесь! — крикнул он детям.— Наша вода нагрелась на солнце!

Некоторые ребята съели свою долю еще на полпути к речке. Гаибназар достал из-за пазухи кусок лепешки, вдохнул ее сытный кукурузный запах и, сглотив слюну, откусил первый кусок.

И тут он опять вспомнил лицо матери — худое, с резко выпирающими скулами, с отвисающими морщинистыми мешками под глазами,— вспомнил ее слова: «Сынок, бережно относись к хлебу. Дадут побольше — спрячь лишний кусочек...»

Он быстро разжевал и проглотил кусок. Что и говорить, эта половина лепешки совсем не казалась ему лишней. И даже если к ней прибавить еще половину... Гаибназар вздохнул, отломил от своей доли небольшой кусок и быстро, плохо разжевывая, съел его. Остальное он сунул за пазуху, чтобы не видеть. Потому что, когда видишь хлеб, совершенно невозможно удержаться и не откусить кусочек.

Речка, к которой они пришли, извиваясь и обегая большие черно-серые валуны, текла, почти скрытая от глаз густыми зарослями камыша. Называлась она Сирлисай — Таинственная река. Нозик-мома рассказывала, будто в древности семь дочерей падишаха как-то отправились на прогулку. Дело было весной. Дочери падишаха восседали на паланкинах и сверху взирали на бело-лиловые сады предгорных селений, на багрово цветущие маковые поля, на согнутые плечи рабов, несущих паланкины. Путь им преградила эта речка — Сирлисай. Впрочем, в те незапамятные времена это, может, и не речка была, а настоящая река — широкая, быстрая, с ревом подмывающая глинистые берега. Надо было повернуть назад, но дочери падишаха в один голос повелели перебраться на противоположный берег. Время давнее, дело темное — то ли рабы виновато

ты, то ли слишком быстрое течение коварной речки, только утонули все дочери падишаха, все семь, как одна. Так легенда говорит, а в этих краях легенда — сушая правда. С тех пор и называли люди речку Сир-лисаем. Днем-то она безобидная, прозрачно-бирюзовая, а вот ночью мало кто отважится прийти к этим камышам. Вдруг схватит за халат какая-нибудь дочь падишаха да утащит к себе под воду, хохоча и лаская утопленника...

Ребята с громкими криками, играя, переругиваясь, завели лошадей в реку. Гаибназар пошел с гнедым подалее, чуть выше по течению, где еще не успели замутить чистую холодную ледниковую воду. Здесь было тихо, только посвиркивали в камышинках крошечные юркие птички, названия которых не знал никто. Шагах в тридцати от мальчика, прижавшись к земле, внимательно следила за птичками лиса. Она и не пыталась броситься за какой-нибудь — видно, по опыту знала, что обречена на неудачу, — слишком проворны были серые крохи, — но не уходила, лежала в камышах неподвижно, напряженно. Так безмятежно и ровно шумела речная вода, так беззаботно чирикали речные птички, что мальчик совсем забыл о кабанах, которые часто появлялись здесь, отпугивая проходящих на водопой животных, взбаламучивая воду.

Гнедой пил медленно, спокойно, мерными глотками. Гаибназар напился тоже. Он еще не поднялся с колен, только повернул голову, проверяя, здесь ли утренняя рыжуха или удрала, разочарованная, прищурился и оцепенел: прямо на него угрюмо уставился серыми глазками большой кабан на другом берегу речки. Еще секунда — и он ринулся тяжело и мощно прямо наперерез лошади. Не помня себя от страха, Гаибназар кинулся в сторону, откуда были слышны голоса мальчишек. Он взбежал на пригорок, увидел купающихся ребят и упал обессиленный. Гаибназар уже понял, что кабан вовсе и не преследовал его, но от пережитого ужаса колотило в горячке его маленькое тело и он не мог подняться. Ребята окружили его, помогли встать и посадили на чью-то лошадь. Гнедой исчез.

— Ничего, он на ток вернется, — сказал один из мальчишек. — Этот гнедой однажды уже сбросил Мурадилло. Его всегда подсовывают тому, кто в первый раз приходит.

— А ты счастливчик, Гаибджан, — заметил другой. —

От верной смерти спасся. Будешь теперь жить до ста лет. Интересно, что бы ты делал, если б кабан на тебя напал?

Все удивлялись везучести Гаибназара, а он вдруг вспомнил про оставшийся кусок лепешки, хлопнул себя ладонью по рубашке на животе и понял, что потерял хлеб. Он слез с лошади, огляделся вокруг, думая, что обронил его, когда упал. Но тщетно — хлеба нигде не было. Ребята молчали, отворачиваясь от Гаибназара, пряча глаза.

Подъезжая к току, он увидел гнедого. Тот жадно и сосредоточенно поедал еще не обмолоченное зерно.

— Чья лошадь?! Заберите! — крикнул кто-то из взрослых. Это был Бердимурад, рослый и широкоплечий богатырь — его мускулами восхищалась вся киш-лачная детвора.

Гаибназар, поспешно соскочив с лошади, бросился к гнедому.

— Так это твоя лошадь, бездельник?! Не успел начать работать, как уже отличился! — продолжал шуметь Бердимурад.

— Гнедой испугался кабана, там, у речки... и... убежал,— торопясь, запинаясь, объяснил мальчик.

— Молчал бы, не оправдывался! Взятся работать — работай, а то скажу Шербуте, выгонят тебя отсюда в три шеи! — И добавил сварливо: — В отца пошел, такой же простофиля...

Гаибназар онемел на миг от жгучей обиды, от ярости и желания немедленно ударить этого человека, посмеявшего оскорбить память отца. А Бердимурад как ни в чем не бывало играючи орудовал лопатой, перебрасывая зерно. На солнце блестели его литые мускулистые руки и великолепная спина.

— Что вам сделал мой отец?! — выдавил мальчик, побелев.

— Ах, да у тебя язычок подрос! — возмутился Бердимурад.

— Э-э, Бердимурад, зачем говорить об умершем? Разговаривай о живых, если голова у тебя на месте,— подал голос работающий тут же Дустмурад-бобо\*. Он скручивал солому, его проворные сухие старческие руки двигались, как заведенные, и казалось, что Дустмурад-бобо сам по себе, а его руки скручивают солому сами

---

\* Бобо — дедушка.

по себе, независимо от хозяина.— Зачем обижать сироту? Добра тебе за это не будет...

Бердимурад промолчал на слова старика. Вот интересно: никто не может возразить этому человеку или отказать ему в чем-то. И бригадир, и председатель колхоза поддакивают ему и слушают его совета...

Вечерело. Гаибназар, уставший от всех происшествий, двигался почти машинально и даже не обрадовался по-настоящему, когда кончили работу. Он сидел на нагретой за день земле и смотрел на спящие под снегом вершины Ойкора. Никогда он не тает, этот снег. Даже в саратан — самую жаркую пору лета. Гаибназар знал это хорошо, потому что не раз, когда приходил в горы за дровами, видел, как бушевал здесь снежный буран. Старики говорят: если на Ойкоре растает весь снег, то плохо придется людям — наступит засуха и голод.

Ночь опустилась быстро и неожиданно — солнце окунулось за вершины Ойкора, стремительно стало меркнуть небо, и вскоре совсем потемнело, как давно нечищенный медный кумган. Почти все работники ушли домой в кишлак. А Гаибназар решил остаться вместе с братьями-близнецами Хасаном и Хусаном. Они потеряли родителей давно, еще в младенчестве, и жили у дальних родственников, где их, видно, особенно не ждали.

Взошла круглая ленивая луна — повелительница ночного неба, поплыла в облачной сизой дымке неторопливо, осторожно, словно боялась напороться на острые пики Ойкора. Несколько человек на току уже заканчивали просеивать зерно. Движения их уставших за день рук были замедленны, как движения луны навстречу вершинам гор, и от этого фигуры людей казались призрачными.

Поужинав, все вскоре уснули, завернувшись в халаты. У кого халатов не было — устраивались в соломе.

— Эй, Гаибназар, пойдем, у нас вырыты норы,— предложил Хасан.

— Норы?! — удивился, не поняв, Гаибназар.

— Ну да, вон там,— и он кивнул в сторону стогов. Действительно, в одном стогу были вырыты две норы, в них и устраивались на ночлег ребята.

— А я, — сказал Гаибназар,— вырою себе нору наверху, чтоб видеть горы...

— Замерзнешь,— заметил Хасан. Они с братом похожи как две капли воды, только у Хасана была привычка беспрестанно быстро-быстро моргать глазами.— Ты лучше ложись с нами. Если эти норы рыть без конца, весь стог развалится.

— Верно,— поддержал его Хусан,— ложись у нас в ногах, под голову подложи седло...

Наработавшись за день, мальчики быстро уснули. Но посреди ночи Гаибназар вдруг открыл глаза, словно его окликнули или потянули за руку. Совсем рядом за стогом кто-то шептался. Гаибназар замер и с трудом удержался от того, чтобы не дернуть за ногу лежащего рядом Хусана. Три черные фигуры возились у стога с чем-то большим, тяжелым. «Мешок,— подумал Гаибназар,— они вырыли его из стога. Вот еще один...»

Он узнал всех троих. Это были Бердимурад, двигавшийся мягко и бесшумно, как рысь, дядя Маткабил и любимый Гаибназаром Дустмурад-бобо.

«Вот те на, тоже ворует государственное?»

Дядя Маткабил, чувствовалось, здорово боялся. Он командовал отрывистым истерическим шепотом и нервничал, злясь, что его товарищи так неповоротливы. Наконец мешки взвалили на двух ишаков, безразлично стоявших неподалеку, и погнали животных в сторону дороги. Это была дорога на кишлак.

Гаибназар долго пытался заснуть и не мог: перед глазами все маячили эти трое. Лишь когда предрассветная сырость стала забираться в самое, казалось, нутро, он зарылся еще глубже в сено, поверочался немного и задремал.

Все утро за работой он думал о том, что нечаянно увидел ночью. Он старался не смотреть на Дустмурада-бобо и, когда тот спрашивал о чем-то, отвечал коротко, неохотно, опустив голову. Наверное, поэтому тот заподозрил неладное. Он отозвал Гаибназара в сторону и, ласково потрещав по плечу, спросил:

— Ты почему такой хмурый сегодня? Не заболел?

— Нет, ничего...— пожал плечами Гаибназар, глядя себе под ноги.

Тогда старик, положив на голову мальчугана большую, выдубленную солнцем руку со вздутыми суставами, осторожно повернул к себе его лицо.

— Ты видел?..— тихо спросил он, и Гаибназар ощутил, как на его бритой колючей голове подрагивает рука Дустмурада-бобо.

Мальчик молча кивнул и заставил себя взглянуть в глаза старика. Стыд, мучительный стыд, смешанный с паническим страхом перед разоблачением, был в этих старческих, выцветших, когда-то, должно быть, карих, а теперь неопределенного цвета глазах.

— Не смог отказаться...— с трудом сказал он сдавленным голосом. — Они пообещали, что и мне дадут мешок...— И умоляюще, словно этот мальчуган, стоящий перед ним, сирота, бедняк, был его судьей и обвинителем, воскликнул: — Что мне оставалось, Гаибджан? Двое детей у меня умерли зимой, ты же знаешь. Не могу смотреть, как дети мучаются! Ну, что делать, что делать?!

— Успокойтесь, Дустмурад-бобо... — выдавил Гаибназар, чувствуя жалость к старику.— Я никому не расскажу...

— Дай аллах тебе счастья, сынок,— горячо, с облегчением заговорил старик.— Вернемся в кишлак — заходи ко мне, отсыплю тебе зерна немного. Вы ведь тоже перебиваетесь, бедняги.

— Спасибо, бабушка, не нужно. Лишь бы здесь выдали, что причитается.

— Дадут, не волнуйся, все сполна дадут, я заставлю! — пообещал старик.

В это время на дороге со стороны кишлака показался всадник. Он погнал лошадь изо всех сил. Когда он приблизился, стало ясно, что это Маткабил. Соскочив с лошади, утирая рукавом пот с красного, взволнованного лица, он торопливо проговорил:

— Сегодня в полдень приедет лектир!

— Зачем? Работу проверять? — спросил один из взрослых.

— Кто знает, может, и проверять...— с тревогой ответил Маткабил, оглядывая всех.— Может, кто-то написал...

— Во-первых, не лектир, а лектор,— вмешался высокий худой человек, голова которого была обвязана поясным платком.— Во-вторых, лектор не проверяет жалобы, а рассказывает о событиях, происшедших в мире.

Это был Абдурайим Солдат. Так его звали потому, что он никогда не снимал солдатскую форму. Давно закончилась война, уже несколько лет не было слышно о басмачах, а он, когда ни встретить его, все ходил в сол-



датской форме. Поэтому люди говорили: «Абдурайим родился солдатом».

— Ах, вот оно что...—протянул Маткабил, успокаиваясь.— А я-то гнал лошады! Едва председатель колхоза сказал мне, я в седло — и ну погонять. Даже домой не заехал.

Весть о лекторе разнеслась мгновенно. Все пожимали плечами, озадаченные, гадали о причине приезда лектора. Гаибназар тоже думал об этом. Все-таки государственный человек придет — может, рассказать ему о тех, кто ворует зерно? Но если он расскажет о Бердимураде и Маткабиле, придется упомянуть и о Дустмураде-бобо. Нет, нельзя, ведь Гаибназар слово дал. Да и жаль старика. У него одиннадцать детей. Было тринадцать, но двое умерли прошлой зимой от голода. Люди говорили, что тогда Дустмурад-бобо спятил: как-то зимним вечером он подстерег Юсуфа-Дума возле его дома и, приперев председателя Совета к высокому, внушительному забору, держа увесистый камень у его виска, потребовал зерна из колхозного амбара. И что же? Получил Дустмурад-бобо немного продовольствия для своих голодающих детей — видно, здорово перепугался Юсуф-Дум.

Нет, нельзя рассказывать лектору о старике. Вот если бы только о Маткабиле и Бердимураде. Особенно отвратителен Бердимурад — прекрасно сложенный, с красивыми, будто вылепленными руками и торсом, с непропорционально маленькой головой, с глубоко спрятанными, как у рыси, глазами. Его отец в свое время удрал в Афганистан. А Маткабил? Мать говорит: он и с покойника умудрится взятку содрать.

Вообще-то, наверно, нет на свете совсем плохих людей. Плохих с самого рождения. Это жизнь гнет и скручивает, каждого по-своему. А может, оттого и начинаются эти разговоры: «Плохой — хороший», что люди не хотят понять друг друга, в чем-то друг другу уступить. Те же Бердимурад и Маткабил для кого-то самые дорогие, самые любимые... Как разобраться во всем этом?

К полудню приехал лектор — статный, хоть и небольшого роста, в военной форме, с маленькой, аккуратно подстриженной черной бородкой. Маткабил, едва заметил на дороге двух всадников (лектора сопровождал человек из района), поспешил навстречу, улыбаясь, пытаясь скрыть страх и тревогу. Ребята, приостановив лошадей, с любопытством глазели на приехавших.

В тень под двумя молодыми карагачами подкатили арбу, усадили на нее гостей, и вскоре их тесной толпой окружили люди. Среди них был и Дустмурад-бобо. Он не полез вперед, а остался стоять за чьей-то спиной, лишь изредка осторожно выглядывая, стараясь понять, что за человек лектор. Гаибназар нарочно не смотрел в его сторону, чтобы старик не сомневался в нем.

— Почему на лошадях только дети? — спросил лектор у Маткабила.

— Чтобы лошадям было легче, товарищ лектор, — быстро объяснил Маткабил.

— Смените детей. Вы же знаете, как изматывают лошади.

— Так ведь не сегодня-завтра работа на току кончится, и мы переведем ребят на другую, полегче.

— Полегче? А именно?

— Будут возить зерно в район.

— Выходит, самую ответственную работу вы поручите детям?

— Какая же это работа, товарищ лектор! Покатаются на арбах...

— Не покатаются! — отрубил лектор, сведя прямые властные брови. — Пусть зерно возят взрослые. Время беспокойное, голод. Немало всякой дряни по горам шатается.

— Хорошо, товарищ лектор, хорошо, — поспешно ответил Маткабил. Он махнул ребятам рукой, приказывая слезть с лошадей. Впервые работа на току остановилась.

Что-то записав в своем блокноте, лектор спрятал его в нагрудный карман и повернулся к ребятам. Те стояли, испуганно и настороженно глядя на приехавших. Этот лектор в военной форме, его отрывистый негромкий голос, его властные интонации, когда он обращался к Маткабилу, — все говорило о том, что человек он важный и, по-видимому, опасный.

— Хорманг\*, ребята, — сказал он, улыбаясь.

И эта неожиданная улыбка, и то, что он обратился к ним, как ко взрослым, совсем сбило с толку детей. Они молчали, переглядывались.

— Здравствуйте, товарищ лектор, — наконец нерешительно произнес кто-то из ребят постарше.

---

\* Хорманг — «Не уставать вам!» — приветствие, употребляемое обычно при встрече с работающими; соответствует русскому «Бог в помощь!»

— Здравствуйте! — говорили друг за другом дети. Они оживились.

— Устали, наверное? — спросил лектор, по-прежнему улыбаясь.

— Нет! Спасибо! — зашумели ребята.

— В детстве я тоже помогал отцу молотить зерно. Весь день, бывало, на лошади, с утра до вечера. Скажу вам откровенно, ребята, уж очень доставалось заднице от этой молотыбы...

Раздался дружный смех. Смеялись все — от маленького десятилетнего Шавката до старика Дустмурада, который всего пять минут назад не знал, куда деваться от страха и растерянности.

— Теперь перейдем к основному вопросу, — уже серьезно сказал лектор. — Я прибыл к вам по заданию райкома. Партия и правительство делают очень многое для укрепления колхозного строя. Но есть люди, которые пытаются помешать становлению колхозов. Они организуют покушения на жизнь видных деятелей колхозного движения, прячут пшеницу, крадут зерно. Особенно опасно то, что такие люди попадают в члены коллективного хозяйства...

Тут Гаибназар, сам того не желая, взглянул на Дустмурада-бобо. Как назло, и тот повернул голову в сторону мальчика. Их взгляды встретились, и Гаибназар тут же опустил глаза, как будто это не старик, а он сам ночью тайно погонял ишаков с мешками зерна по дороге в кишлак. Он уже проклинал себя за то, что стал невольным свидетелем греха Дустмурада-бобо, и поклялся себе еще раз ни за что, никому не выдавать эту позорную тайну...

После приезда лектора на току все чаще стали слышны голоса детей. Маткабил перестал кричать на них своим надрывно-тягучим басом, и даже, когда кто-нибудь из ребят начинал переговариваться чересчур громко, он молчал, награждая их лишь угрюмыми взглядами.

Наконец закончилась работа на току. Маткабил в присутствии председателя ревкома распределял зерно. Взрослому полагалось восемь пудов, ребенку — четыре. Все долгие три часа, пока длинная очередь измотанных, запыленных работников тянулась к весам Маткабила, Дустмурад-бобо стоял возле Гаибназара, придерживая его за худенькое острое плечо. И когда подошла очередь мальчугана, старик негромко и твердо бросил Маткабилу:

— Добавь сыну Ташбуви еще пуд! Тяжело им без отца.

Маткабил возмущенно вытаращил глаза и хотел гаркнуть что-то, но под взглядом старика молча отвесил добавочный пуд.

На следующий же день поле заполнилось сборщиками колосьев. Среди них были Ташбуви с сыном, осунувшимся, не успевшим еще смыть пот от вчерашней тяжелой работы, и Энакиз со своей мечтательной дочерью...

Работая косарем в бригаде Сулаймана-ака, Гаибназар почти не видел Каракоз: уходил рано — Ойкор сумрачно громоздился в рассветном небе, — возвращался поздно, в сумерках, смертельно уставший. Лишь изредка они сталкивались перед калиткой Гаибназара, когда уже вечером, в темноте, Каракоз пригоняла с пастбища стадо коров. Щелкая кнутом, покрикивая, она успевала только кивнуть Гаибназару, а он провожал ее долгим влюбленным взглядом.

Весна в этом году выдалась недождливой, приветливой. Семьи животноводов, все лето жившие в горах, уже ранней весной отправились на Ойкор. И, как это бывало всегда весной, Ойкор ожил: вечерней порой на Коккутане, Говкутане, Майликутане загорались огоньки — костры чабанов. И тогда сжималось сердце в какой-то сладкой тоске, и хотелось туда, в горы, где прохладный ветерок разносил запахи пахучей горной растительности, где возле костра чудилось, что кишлак с маленькими глинобитными домишками, с кладбищем и пыльной дорогой навсегда остался внизу, а ты живешь в ином, прекрасном, сказочном мире...

## Глава четвертая

Ташбуви не решалась заговорить с соседкой о свадьбе: думала, что та захочет сделать все по-мусульмански, с традициями, со сватами. И с Гаибназаром не торопилась советоваться, хотя сын — она видела — с каждым днем становился все нетерпеливее. Он не понимал, почему мать откладывает разговор с Энакиз-холой.

Иногда к ним заходили его одноклассники — насмешник Садык, щуплый, сутулый, но неизменно жизнерадостный, и молчаливый Джура. Они помогали Га-

ибназару подправлять его хибару, которая, казалось, могла рассыпаться от громкого смеха. За обедом ребята затевали разговор.

— Когда вы прибавите этому дурню еще одну голову\*? — спрашивал Джура, кивая в сторону Гаибназара.

— Чтобы вы не мучились в поисках невесты, он согласен взять дочь вашей соседки, — продолжал насмешливо Садык. — Хватайтесь за это предложение, тетя Ташбуви, пока он не раздумал!

Ташбуви терялась от шуток парней, на глаза почему-то наворачивались слезы радости: вот и вырос ее Гаибназар.

Наконец она решилась. Надела праздничный бархатный жилет, голову повязала ярким цветастым платком — подарок сына — и, взяв с собой кое-какие гостинцы, вышла за калитку, словно ей предстоял долгий путь в соседний кишлак, а не пять шагов до калитки соседей.

Энакиз, увидев приедетую Ташбуви, ее напряженное, торжественное лицо, все поняла, и не успела Ташбуви сказать и двух слов из приготовленной ею длинной речи, как обе женщины уже дружно плакали, обнявшись. Простодушная Энакиз не ставила будущей сватье никаких условий, не просила калыма. Она считала, что достаточно добра сделали эти люди для нее и дочери...

После того как по кишлаку распространился слух, будто Каракоз выходит замуж за Гаибназара, мать, по обычаю, стала редко отпускать ее на улицу. Да и сама Каракоз избегала людей. Вскоре должна была быть помолвка. Энакиз совсем покой потеряла. Целыми ночами она ворочалась с боку на бок, прикидывая, сколько понадобится на угощение муки, сколько мяса, рису и как все устроить, чтобы и гости были сыты и чтоб недорого обошлась помолвка. За три дня до нее, тяжело отдуваясь, Энакиз вытащила из ниши в прихожей мешок с зерном, которое они с дочерью насобирали в прошлом году. Тогда она шутя сказала Каракоз: «Намелем из этого зерна муки, напечем, господь даст, лепешек к твоей свадьбе». Теперь Энакиз говорила, что, видно, услышал тогда эти слова всевышний. Повязавшись выцветшим на солнце платком, Энакиз поволокла мешок на мельницу. Обычно они брали лошадь у соседа слева,

\* Иными словами: «Когда вы жените своего сына?»

у Яманкула-бобо, но на этот раз мать почему-то решила обойтись своими силами. Хотела этот мешок, который мысленно называла «свадебным», донести на своих собственных плечах.

В один из волнующих сердце весенних вечеров Энакиз разожгла в старом очаге дрова, собранные накануне Гаибназаром. В большом котле варилось мясо старого, но жирного козла. И вот, негромко переговариваясь, торжественно-немногословные, в дом вошли приглашенные аксакалы, пять-шесть самых уважаемых в кишлаке людей. Степенно усаживались они на курпачах, важно кивали головами. Потом приступили к угощению и долго, неторопливо ели, смакуя вкусную шурпу. Наконец, умиротворенные, сытые и угощением и почетом, ублаженные благоговейными взглядами Ташбуви и Энакиз, они торжественно и громко сотворили фатиху\*...

Каракоз пряталась от гостей в сарае. Помолвка вовсе не требовала присутствия невесты, и Каракоз была рада этому. Втайне она ждала этого дня, но сегодня, когда наконец свершилось то, чего она так ждала, когда она и Гаибназар во всеуслышание были объявлены женихом и невестой, ей стало тревожно и грустно. Она пыталась успокоить себя тем, что это еще не свадьба, а только помолвка, и что в конце концов ведь уходит она не в другой кишлак, а в соседний дом, который дорог ей не меньше, чем свой, но все равно нет-нет да и представляла себе одинокую Энакиз, сидящую в опустелом доме,—и на глаза ее набегали слезы. Она вглядывалась в полутьме сарая в каждое поленце, в каждую ветку, щедро источавшую запах арчи, словно силясь разгадать какую-то тайну, узнать, что ждет ее в будущем. Именно сегодня она почувствовала окончательно, что стала совсем взрослой.

Вдруг отворилась, скрипнув, дверь сарая, и Каракоз увидела дочь Яманкула-бобо, тринадцатилетнюю Гуландом.

— Мама велела передать, чтобы вы к нам шли,—запыхавшись, сказала она.

— Не пойду. Там люди во дворе, мне неловко.

— Нет, все давно в доме,—уверила ее девочка и, приблизившись, протянула Каракоз ладонь, на которой лежало несколько шариков курта.— Угощайтесь.

Берегом речки, по саду, растущему за домом, влаж-

---

\* Ф а т и х а — молитва, читаемая при сватовстве.

но дышащему вечерней глубокой прохладой, Каракоз и Гуландом дошли до дома Яманкула-бобо.

— А я видела Гаибназара-ака,— сказала Гуландом словно невзначай.

Она радостно и застенчиво улыбалась, обнажая при этом маленькие некрасивые зубы, сидящие неровно в массивных деснах. Чувствовалось, что неказистой девочке страсть как хотелось поговорить о замужестве Каракоз.

— Видела Гаибназара? Ну и что? — с намеренно безразличным видом спросила Каракоз.— Рога у него выросли, что ли, или третий глаз во лбу загорелся?

— Ничего, просто видела, и все,— по-прежнему улыбаясь, ответила Гуландом.— Он новую тубетейку надел. Как ему идет! Увидите— с ума сойдете!

— Да ну! — воскликнула Каракоз, покровительственно взглянув на девочку.

— Ох, если бы вы знали! Волосы он подстриг, и от этого брови кажутся еще чернее. И глаза у него такие большие-большие, посмотрит — не знаешь, куда деваться. Такой высокий Гаибназар-ака, сильный, плечи — во какие! Мама говорит, что вы будете вторыми Юсуфом и Зулайхо, такими же легендарными влюбленными!

— Хватит! Хватит! Ишь разговорилась, бесстыдница!

— Я сказала, что слышала, вы же сами спрашивали,— ухмыльнулась Гуландом.— А приятно невестой быть? — помолчав, поинтересовалась она.

— Будешь на моем месте — узнаешь. Наберись терпения,— ответила Каракоз.

...Поздно вечером за ней пришла замученная дневными хлопотами и переживаниями Энакиз. В кромешной тьме, крепко прижавшись друг к другу, они возвращались домой тем же ночным, влажным от росы садом.

— Все хорошо, доченька,— тихо рассказывала мать.— Все как у людей. Тебе люди счастья желали, разошлись поздно. Кажется, все сыты, довольны... Только дядя Самандар не пришел, даже Мастоной не прислал вместо себя.

— Подумаешь! — беспечно возразила Каракоз.— Может, оно и лучше. Вам нужен был скандал на моей помолвке?

— Молода ты еще, доченька,— печально сказала мать,— повзрослеешь — поймешь. Люди удивлялись: «Единственный брат у Энакиз, и тот не пришел». Многие о нем спрашивали. Позор, позор... Правду говорят,

что родственники познаются на свадьбе или похоронах. Как он мог не прийти — родной мой брат!

Энакиз еще долго качала головой и устало бормотала что-то, вздыхая...

...Дом Гаибназара в эти дни был во всем похож на соседский. Мать и сын с ног сбились, хлопоча о свадьбе. С трудом решился самый важный вопрос — вопрос с рисом. Предстояло еще съездить в Самарканд, привезти два мешка парварды, белых, похожих на подушечки конфет, или раздобыть где-то сахару в головках. Один мешок оставляли у себя, другой должны были отправить сватье.

Долго ломали голову над тем, как добыть на свадьбу барана. Их ягненок, вскормленный молоком козы, вырос и стал довольно упитанным, но ни мать, ни сын и думать не могли о том, чтобы отдать его на мясо. Они выходили его с трехнедельного возраста, и ягненок этот давно уже стал для Гаибназара и Ташбуви как бы членом семьи. В прошлом году волк задрал в Иргайчинской степи их единственную овцу. Это была вина пастуха Исмаила, который, бросив стадо на младшего сына, ушел косить траву на Катарталсай. Вернувшись, он увидел растерзанную тушу овцы и в голос ревущего сына. Разъяренный Исмаил избил мальчика пастушеским своим посохом, но дела уже поправить было нельзя.

В тот вечер, обеспокоенные тем, что стада нет и нет, мать с Гаибназаром вышли ему навстречу. Вдалеке по дороге кто-то ехал на ишаке и громко плакал. Через спину ишака было перекинута что-то громоздкое.

— Наверное, волк чью-то овцу задрал, — с сочувствием к неизвестному пострадавшему сказала Ташбуви.

— А вдруг нашу? — сам не зная почему, спросил Гаибназар.

— Сплюнь сейчас же, типун тебе на язык! — воскликнула мать. — Тебе что, захотелось избавиться от единственной овцы?

Малолетний сын Исмаила, завидев Ташбуви-холу с Гаибназаром, заплакал еще громче. Гаибназар взгляделся пристальней и вдруг узнал свою овцу — окровавленную, с обвисшими ушами. Мать ахнула, как подстреленная, и запричитала:

— Натворил дел, а теперь реवेशь, проклятый! Чтоб тебе счастья в этой жизни не было! Не успокойтесь, пока последнюю скотину у бедняка не убьете!

— Что делать, тетечка, такое несчастье! — горько



всхлипывал мальчуган, перепуганный, виноватый, избитый палкой отца.— Собаки, как назло, за отцом увязались, а волк был голодным, чуть меня не задрал. Еле я спасся...

— А ягненок жив? — расстроено спросил Гаибназар.

— Жив, жив! Я не смог его поймать. Но я обязательно поймаю и принесу, акаджан\*! — уверил его заплаканный мальчик.

...Так вот, это был ягненок той несчастной овцы, Смирный, пригожий, толстенький, он ел все, что дают. А какой ласковый! Ходил по двору за Гаибназаром, как собачонка. Ну разве можно зарезать, даже на свадьбу, такого славного ягненка?..

## Глава пятая

Год змеи, как обычно, не принес ничего утешительного. Люди уже поговаривали, что на хороший урожай надежды нет, что уродятся яблоки, мало будет винограда, пшеницы, овса. Даже дрова — хворост и ветки — стали редко встречаться в горах.

А Энакиз как раз о дровах и беспокоилась. Те, что Гаибназар собрал перед помолвкой, уже кончились.

— Дитя мое, говорят, на Майликутане много сухих арчовых веток. Может, сходишь, принесешь вязанку? Будет стыдно, если на свадьбе не хватит дров,— сказала Энакиз дочери.— Только вот не знаю, удобно ли тебе идти, ведь ты помолвлена. У нас это не принято. Что люди скажут?

— Да кто за мной следит, мама! Возьму кого-нибудь в компанию — Фирузу, например,— и быстренько управимся,— возразила Каракоз.— Можно не заходить слишком далеко. Поищем дрова возле хижины Нурмана-бобо.

Мать все сомневалась.

— Боюсь послать тебя, доченька. Вчера на базаре молочница Мехри рассказывала, что Самандар с женой грязные слухи распускают про тебя, а Камариддин якобы грозился отомстить Гаибназару...

— Глупости, мама! Не надо слушать сплетни, мало ли что скажут злые языки! Ничего, за все им отпла-

\* Акаджан — уважительное обращение к старшему брату.

тится. Бабушка Нозик всегда говорила, что людей с черной душой видно и на земле и с самого неба.

— Ну, иди, господь с тобой. Только возьми подругу.— Она накинула платок на голову дочери.— Жаль, не смогла я Нурману-бобо отправить гостинцев с твоей помолвки. Узнает — обидится. Постой, соберу-ка я для него что-нибудь.— И, вручая дочери маленький узелок для Нурмана-бобо, добавила: — Твой покойный отец очень любил его. Обязательно навести старика и получи его благословение.

Каракоз зашла за подругой, но та с матерью уехала в район. Домой возвращаться не хотелось, горные пастбища призывно зеленели на склонах, легкий теплый ветер ласково трепал ей мелкие кудряшки на лбу. Она решила идти за дровами одна.

На Майликутан люди навевывались в поисках сухих веток. Здесь стада необыкновенно быстро нагуливали жир, да и молоко у коров было словно сметана. Поэтому и называли это пастбище Майликутан — Масляное. Два пологих холма, поросших густой сочной травой, и между ними речка Сирлисай — это и есть пастбище. А у подножия одного из холмов, почти на берегу Сирлисай, притулилась низенькая хижина. Там жил девяностодвухлетний Нурман-бобо. Сколько помнила себя Каракоз, старик жил здесь один-одинешенек. Какие только легенды об этом человеке не ходили по окрестным кишлакам! Особенно одна, самая печальная, рассказанная бабушкой Нозик давно, когда Каракоз была совсем маленькой девочкой... Нет, лучше не вспоминать о ней, да еще если приближаешься к хижине старика! И как он может жить здесь один, неужели ему не страшно? Дорога на Майликутан вилась недалеко от его хижины, и не было путника, который прошел бы мимо, не попроветствовав старика, не угостив его чем-нибудь.

Стремительная вода, кружась в водоворотах, переплетаясь струями, мерно шумела. Если напрячься, можно было различить стрекотание кузнечиков и зудение каких-то насекомых. Лето входило в силу, скоро уже и саратан должен захватить в свои владения горы, небо, всю эту благодатную землю...

Хижина Нурмана-бобо — приземистая, без веранды, с дверью, обращенной в сторону гор, — выглядела изда- лека маленькой и одинокой. Она и в самом деле была маленькой и нехитрой — просто четыре стены, накры-

тые ветхой камышовой крышей. В задней стене вырезано окошко, зарешеченное камышом. Если потянуть эту циновку за веревочку, то камышинки раздвигаются — и в хижине становится светлее. Такое же окошко Каракоз видела в доме бабушки Чинни, у которой всех сыновей перерезали басмачи...

Дверь хижины вдруг открылась, и оттуда вышел старик, одетый в легкий выцветший, почти белый халат. В руках его был кувшин. Издали этот человек казался сказочным старцем из какой-нибудь древней легенды. Он спустился к реке, набрал в кувшин воды и присел на траву. Только тогда заметил приближавшуюся фигурку девушки. Заслонившись от солнца ладонью, старик долго, пристально глядел на Каракоз. Потом снял чалму, заново перевязал ею голову и поднялся, приглаживая рукой длинную белую серебристую бороду.

— Ассалом алейкум, Нурман-бобо! — Голос Каракоз дрожал от радости. Она всегда очень волновалась, когда говорила со стариком: ей чудилось, что он не обычный человек, а видение, дух из старой сказки.

— Ваалейкум ассалом, дитя мое. Рано ты вышла в дорогу... Как поживает Энакиз?

— Слава аллаху, хорошо, дедушка... Вот мама послала вам.— И она протянула старику узелок, собранный Энакиз.

Старик неторопливо взял подарок, сказал с достоинством:

— Аллах благословит твою мать, доченька, добрая она женщина. Пусть забота, обращенная ко мне, вернется к ней самой от добрых людей. Пусть увидит счастливыми своих детей.— Он пристально посмотрел на Каракоз.— Я слышал, на днях была помолвка, это правда, дитя мое?

— Правда, дедушка,— смущенно ответила Каракоз.

— Вы и раньше были неразлучны с сыном Эгамназара. Видно, сама судьба уготовила вас друг другу. Что ж, он хороший парень, голова на месте, дай аллах вам счастливо состариться.— Он легко нагнулся за кувшином и, подняв его, сказал: — Возьми узелок, доченька, и иди в дом. Чай поставь, поьем мы с тобой чаю. А захочешь сделать куртаву\* — найдешь в нише курт... Я скоро приду, только совершу омовение...

---

\* Куртава — растертый в воде курт; курт — овечий сыр, высушенный в виде шариков.

Каракоз взяла из рук Нурмана-бобо узелок и наполненный кувшин и пошла к хижине. Прямо у двери росла могучая, но совершенно высохшая арча. Эта мертвая арча, причудливо переплетая ветви, казалось, застыла в зимнем зловещем сне. Вот и весна кончилась и лето наступило, а заколдованная арча все не проснется, все не сбросит чары злых духов. Сказочное дерево, она чем-то была похожа на самого старика.

В единственной комнате Нурмана-бобо царил строгий, десятилетиями не нарушаемый порядок. Весь домик пропах душистым ароматом арчи, ее сухие ветки были в каждом углу, выкладывали из высоких, изящно выгнутых глиняных кувшинов, висели под потолком. Многочисленные ниши были уставлены посудой, там лежали камни самых диковинных форм, странные, замысловатые коренья. В нишах в стене напротив двери стояла деревянная и глиняная посуда, кувшинчики, выдолбленные из тыквы, самых разных размеров и форм — маленькие, продолговатые, круглые, большие и пузатые...

Возле хижины под навесом был очаг. Каракоз вынесла из дома медный кувшин для кипячения воды, поставила его на очаг и разожгла огонь. Ветки арчи загорелись, обдавая все вокруг жарким душистым дыханием. Девушка вспомнила, что старик попросил сделать куртаву, и вошла в дом за куртотом. Она снимала с ниш многочисленные тыквенные кувшинчики и искала в них шарики курта. Один такой кувшинчик оказался тяжелым, девушка сунула в него руку, но, наткнувшись на что-то мягкое, холодное и скользкое, в испуге отдернула ее. И сейчас же из горла кувшина, покачиваясь, поднялась белесая головка змеи. Постояла миг на стройном туловище и опять нырнула в кувшин. Взвизгнув, Каракоз выскочила из дома. Отбежала в сторону и посмотрела вниз на реку — не идет ли старик? Как страшно в его сказочном доме! Пусть разбирается сам со своими змеями... Но Нурман-бобо не показывался. Девушка постояла у двери еще немного, потом собралась с духом и осторожно прокралась в дом, к нишам, в стене напротив двери. К счастью, курт сразу же обнаружился в одном из маленьких глиняных кувшинов, и, взяв несколько белых шариков, Каракоз выбежала из дома.

Налив воды в медную мисочку, она мяла курт и думала о своем. Почему, например, ей обязательно нужно переходить в дом Гаибназара? Неужели нельзя жить

всем вместе? Получается, что ее мама остается одна-одинешенька. Не так, конечно, как Нурман-бобо, но все-таки...

Она заварила чай в стареньком чайнике, носик которого был припаян, и поставила его рядом с миской куртавы. А вскоре подошел и сам Нурман-бобо.

— Умница, доченька,— похвалил он расторопность Каракоз.— Вынеси из дома коврик, мы расстелим его в тени клена и будем пить чай,— продолжал он, вытирая мокрое лицо рукавом халата.— У человека, сидящего в тени клена, улучшается здоровье и настроение.

— Но, дедушка... я боюсь: там змея! — призналась Каракоз.

Старик рассмеялся.

— Ах, ты увидела мою красавицу! Не бойся, она никого не трогает. Это ручная змея, ночью она ложится поверх моей курпачи, а днем, чтобы люди не пугались, я кладу ее в тыквенный кувшинчик...— Он подмигнул удивленной девушке, погладив свою бороду.— Только не рассказывай никому, смотри!

Он, посмеиваясь, покачивал головой, вздергивая седые кустистые брови, и был похож на древнего мудрого волшебника, к которому тянется все живое — деревья, звери, люди...

Они сидели на расстеленном в тени клена коврике и ели куртаву с мягкими лепешками, испеченными Энакиз.

— Очень вкусно, дитя мое,— проговорил старик, подбирая кусочком лепешки остатки куртавы в глиняной миске.— Дай аллах, чтобы жизнь твоя была благополучной и щедрой к тебе. Мне, признаться, редко удается поесть свежих лепешек. Чаще я кормлюсь высушенными корнями. Но много есть их нельзя — опухнешь. Тогда аллах посылает мне гостинцы от добрых людей, вот от твоей матери, например...— Он задумчиво посмотрел вверх, на буйно зеленеющий бок горы с рыжими проплешинами камней, и закончил: — А вообще в этих щедрых горах сын человека не умрет с голоду.

— Дедушка, а вам не скучно одному? — осторожно спросила Каракоз, осмелев оттого, что Нурман-бобо был сегодня разговорчивей, чем всегда.— Спустились бы в кишлак, люди бы вам дом построили...

Старик помолчал, его голубые глаза, необычные для здешних мест, рассеянно глядели на дальние гряды гор.

— Раньше как-то не думал об этом,— произнес он

наконец.— Ну а сейчас уже поздно, поздно... Привык, да и... не могу оставить Ойкор в одиночестве.

И хотя девушка видела, что старик явно не желает продолжать этот разговор, она все-таки спросила:

— А как же случилось, что вы живете один на Ойкоре, дедушка?

— Не спрашивай, дитя мое,— вздохнул старик.— Незачем вспоминать об этом зря. Живу здесь оттого, что я горец, тут, в горах, мне спокойней, привычней... Сейчас жизнь стала лучше,— продолжал он.— Раньше горы были местом разграблений, а теперь их охраняет власть. Я слышал, что для животных и птиц будет завезено зерно, корм. Чудеса! Разве такое могло когда-нибудь присниться нам? — Он покачал головой, удивляясь.— Накормить людей и дать пищу птицам и животным!.. Честь и слава человеку по имени Ленин.

— Нозик-мома говорила, что вас изгнал русский царь. Это правда, дедушка? — робко проговорила Каракос.

— Не изгнал, не смог! Кто посмел бы изгнать меня с родной земли? Белая собака... Он пустил за мной целую свору своих псов, но разве я попаду им в руки в родных горах, где знаю каждый камень? — Старик разволновался, руки его все время теребили бороду, и она растрепалась.— Умный человек на своей земле никогда не попадет в руки врагов. Меня охранял на своей груди Ойкор!

Голос Нурмана-бобо дрогнул, глаза заблестели влагой. Волнение старика передалось девушке. Каракос понимала, что лучше не тревожить его расспросами сейчас, но в то же время что-то заставляло ее задавать все новые и новые вопросы — и не праздное любопытство, а потому, что она любила вот эти горы, легенды, рожденные среди этих камней, свой народ, жизнь которого тысячелетиями протекала здесь, на этой земле.

— В чем же была ваша вина? — спросила она.

— Какая вина! — воскликнул старик.— Что худого я мог сделать? Только праведное дело! Поняла! Только праведное дело! — Нурман-бобо в сердцах махнул рукой, сурово взглянул на оробевшую Каракос.— Чувствую — не успокоишься, пока все не расскажу! — Он отряхнул с халата хлебные крошки, сплел свои сухие, будто выточенные из орехового дерева пальцы, и начал: — Когда человек, которого ты называешь царем, прислал своих людей в Самарканд, он, чтобы добыть

топливо для поездов, издал указ вырубить тысячулетнюю арчу в горах Бахмала, Заамина и Фариша. Узнав об этом, восстал весь народ. Сама понимаешь — какие горы без арчи? Разве не будут подобны они человеку без сердца? Людей, восставших на Бахмале, возглавил я. И ребенку ясно: выруби арчу в горах — высохнет вода. Реки обмелеют, наступит засуха. Людям придется бросить свои земли и уйти в другие края. Во многих местах так и получилось... Словом, никто из кишлаков не вышел на рубку... Почти никто. Тех двух негодяев, которые вызвались добровольно на это злодейство, мы вначале призывали одуматься, уговаривали. Когда же поняли, что уговоры напрасны, повесили предателей на арчах... Белый царь, убедившись, что местное население не выйдет на рубку, прислал войско. Царские солдаты вырубали арчу и сплавляли ее по рекам... Видишь Сирлисай? Прежде это была полноводная, широкая река, а теперь... Арчу вырубали, снизился уровень воды, родники сейчас на пальцах можно пересчитать. Раньше заросли арчи доходили до вашего дома, теперь она осталась только на склонах гор, ближе к вершинам... И все равно мы оказывали сопротивление солдатам! Все мои родные были убиты, но я и тогда не смирился... Говорят, белый царь обещал за мою голову много золота... — задумчиво произнес он. — Как видишь, она и по сей день сидит на моих плечах, довольно крепко сидит... Человек, причинивший зло природе, не проживет на свете долго, дитя мое... Ты же знаешь, что случилось с белым царем, — его и самого срубили, как арчу!

По смугло-коричневому лицу старика катилась маленькая слезинка. Сбежала по глубокому желобку морщины на щеке и застряла над верхней губой. Каракоз опустила голову. Она не могла смотреть в эти голубые глаза, столько видевшие на своем веку, вобравшие в себя ледниковый свет самых дальних вершин Ойкора. Глубоко вздохнув, Нурман-бобо вытер слезу рукавом выцветшего ветхого халата. А Каракоз завидовала ему. Несмотря на горькую и печальную судьбу, несмотря на все его одиночество, она завидовала его чистой, прекрасной жизни, слившейся с жизнью любимых гор.

Никогда и ни за что она бы не посмела просить Нурмана-бобо рассказать самое главное в его жизни — историю о Покизе. Ту страшную, гордую, ледящую кровь легенду, которую с детства они знали от бабушки Нозик...

Солнце поднялось уже довольно высоко над Ойкором. Своим яростным, испепеляющим сиянием оно выбелило небо, накалило неистовым жаром горы.

Каракоз вспомнила, зачем пришла сюда, засуеилась, начала собирать миски, пиалы, а потом спустилась к саю — вымыть посуду. Встал и Нурман-бобо.

— Если не испугаешься, дитя мое, поднимись на вершину, откуда упал Карши. Говорят, там видимо-невидимо хворосту. Люди редко поднимаются туда, с тех пор как погиб бедняга Карши. А ты иди, не бойся. Я отсюда буду смотреть в твою сторону. Если станет страшно—погляди вниз на мою хижину... Когда будешь возвращаться, обязательно сообщи мне. Я засыпаю только тогда, когда с гор возвращаются все, кто утром туда поднялся. А если кто-то припоздает, я всю ночь не сплю... Иди, доченька...

Уже отойдя шагов на сто, Каракоз обернулась и помахала рукой Нурману-бобо. Он стоял все так же, глядя ей вслед из-под руки, высокий, статный горец, и уже не человек даже, а живая легенда... Старик долго смотрел на тонкую фигурку девушки, потом пробормотал еле слышно, одними сухими, иссеченными морщинами губами:

— Иди.. дай аллах тебе состариться с твоим избранником...

Часа через два, когда Каракоз добралась до вершины, она поглядела вниз на хижину Нурмана-бобо. Отсюда, с огромной высоты, неказистый домик старика казался величиной с грецкий орех. И Каракоз подумала, что, может быть, совсем недалеко отсюда, в ледниках, лежит под тонким слоем льда прекрасная возлюбленная, и слышит каждое обращенное к ней слово, и чуть улыбается прелестными губами...

...Покиза — так звали ее, красивую девушку, в которую был влюблен юный Нурман. Глубокими черными ночами он тайно спускался с гор, чтобы увидиться с любимой. Она выходила к старой плакучей иве на берег сая и там ждала его, вздрагивая от шелеста листвы, от крика кеклика. Ее возлюбленный появлялся всегда бесшумно и неожиданно — гибкий, высокий, сильный. Он нежно обнимал ее, и казалось, это обнимает сама ночь — властно и горячо...

Но родители девушки боялись отдать дочь челове-



ку, за голову которого царь обещал столько золота. Дни бежали за днями, а Нурман и Покиза продолжали встречаться тайно, ночами, под старой плакучей ивой с мощным стволом и печальными ветвями.

Слух о любви Нурмана и Покизы облетел скоро все окрестные селения и дошел до губернатора. Царские солдаты схватили Покизу, связали ее и притащили к подножию гор. Они повесили связанную девушку вниз головой на арче и по очереди стали сечь ее. Покиза молчала. Ни единого стога не вырвалось из ее груди. Она молила аллаха только об одном: чтобы не оказалось поблизости Нурмана, чтобы не был он свидетелем ее страданий. Но Нурман видел все. Он скрывался за огромными валунами на одной из вершин Ойкора и видел связанную Покизу, ее прекрасные, длинные, густые волосы, свисающие до зеленой травы. Видел он, что солдат много и в руках у них ружья, а за спиной Нурмана затаилось только четверо преданных ему джигитов с луками и стрелами. И все-таки он не выдержал. С шумом посыпались камни с горы, и перед солдатами предстал разъяренный Нурман на громадном сером валуне. Завязалась ожесточенная перестрелка. Но джигиты родились в горах, были детьми этих вершин, этих камней, этих высоких зарослей арчи, а солдаты были чужими. И немало их погибло в схватке, а оставшиеся бросились бежать.

А Покиза... Покиза висела на арче, касаясь травы густыми черными волосами, и в груди ее торчала стрела — гордо оперенная, длинная, смертельно, звеняще разящая. Когда обезумевший от горя Нурман вынул ее из груди любимой, он увидел, что это была его стрела...

Бешеный крик разнесся по всему Ойкору. Такого крика не слышали еще эти камни.

Джигиты Нурмана отволокли трупы царских солдат на Красный Камень — Кизилташ, к медвежьим пещерам. Они решили, что люди, надругавшиеся над природой, должны стать кормом для детей ее.

А Нурман, подхватив на руки свою Покизу, ушел вверх, к далеким вечным ледникам. Говорят, он не похоронил любимую, а долго прятал в одной из пещер в ледниках, куда не ступала нога человека. Потом, выдолбив в леднике могилу, положил в нее Покизу. Тело ее сохранилось и донныне. Говорят, когда подтаивают снега, через тонкий, как стекло, лед, видна спящая Покиза...

Никто не заговаривал об этом с Нурманом. С людьми, которые спрашивали о Покизе, он переставал даже здороваться. Многие годы он не смотрел в сторону женщин, не говорил с ними, но к старости помягчел, стал более приветливым, да и то сказать — столько лет прошло! Лет семьдесят, должно быть...

На вершине, с которой упал Карши, действительно оказалось много хворосту. Каракоз быстро набрала большую вязанку. Когда она спустилась вниз, к подножию Майликутана, вечер уже скрыл горы за сумрачной завесой. Хижина Нурмана-бобо, маленькая, сиротливая, казалась в наступающих сумерках особенно одинокой.

— Вернулась, доченька? — крикнул ей старик. Он, наклонясь над очагом, заваривал чай в старом медном чайнике. — Молодец, проворная. Многие, кто поднялся сегодня в горы, еще не вернулись. Передай привет матери!

Его голос несколько раз повторило эхо, и вновь перед глазами Каракоз возникла спящая в вечных ледниках Покиза. Кто знает, может, эхо донесло голос старика и до его возлюбленной. Каракоз стало страшно, она, не в силах ответить, лишь кивнула Нурману-бобо и быстро пошла дальше. Вязанку дров она несла на голове, чуть придерживая ее руками.

Темнело с каждой минутой все больше, все гуще и синей. Вокруг стояла тишина, и слышно было лишь журчание сая и шлепанье старых калош на ногах девушки.

Впрочем, здесь, как и всюду в горах, звенел свой чарующий голос — звук гор. Стоило только напрячь слух, и можно было различить сотни голосов, перекликающихся, повторенных несчетное количество раз эхом. Этот волшебный голос создают все обитатели гор, даже их растительность. И по мере того как удаляешься, уходишь отсюда, кажется, что звук этот, этот звенящий, дрожащий голос мчится тебе вослед, окликает тебя.

Где-то крикнула куропатка, и сразу ей отозвался голос друга. И вновь — только журчание сая...

Вдруг раздался шум сыплющихся под ногами камней. Каракоз вздрогнула, руки ее от страха ослабели, и вязанка хвороста соскользнула с головы, упала и рассыпалась.

«Волки!» — мелькнуло в голове Каракоз. И мгно-

венно вспомнилось, что волки боятся огня. Она судорожно выхватила коробок спичек из кармашка жилетика, чиркнула одной и бросила ее на землю, где густо лежали прошлогодние листья.

Листья вспыхнули ярко, мгновенно. И сразу в стороне послышался ехидный смешок. В наступившей уже темноте Каракоз не сразу узнала Камариддина, сына дяди Самандара. Обнажив редкие, мелкие, пожелтевшие от постоянного курения зубы, он ухмылялся. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Каракоз — неприязненно и настороженно, Камариддин — с мольбой, страстью и ненавистью.

Наконец Каракоз отвела глаза и с ожесточением стала затаптывать огонь. Камариддин поспешно подбежал, суетливо бросился помогать ей. Так же молча, в сердцах позабыв, что хотела сказать, Каракоз принялась собирать рассыпавшиеся дрова.

— Каракоз! — глухо проговорил Камариддин, пытаясь взять вязанку из ее рук. — Подожди минутку!

— Мне некогда! — отрывисто, не глядя на него, ответила девушка.

— Минуту! Только одну минуту... Выслушай меня, разве я не человек? Выслушай лишь раз, но до конца, а потом поступай как знаешь...

Столько мольбы было в его дрогнувшем голосе, что Каракоз, поборов свою неприязнь к этому человеку, свой страх перед ним, быстро ответила:

— Ну, давай скорей. Уже темно. Мама, наверное, волнуется.

И тогда он заговорил горячо и торопливо, сбиваясь, начиная объяснение опять: то неприятно посмеиваясь — и было в этом смешке что-то от сдерживаемых рыданий, — то угрожая.

— Я не могу больше молчать, Каракоз. Я люблю тебя. Давно уже люблю и не знаю, что мне с этим делать. Для меня ты — вся жизнь, а ты и говорить со мной не желаешь, отворачиваешься, когда встречаешь. Неужели я не имею права на любовь? Что я, выродок? Что я, хуже этого Гаибназара?! Пожалей меня, любимая! Ты должна быть моей, Каракоз! И я верю, это будет. Ну скажи, ободрь меня, я ведь умру без тебя, Каракоз!

Он вдруг рухнул на колени, грузно, как подрубленный, и неожиданно проворно подполз к девушке, схватил за подол платья.

— Перестань! — в отчаянии крикнула Каракоз, пы-

таясь вырвать из его рук подол.— Встань сейчас же, не валяйся!

— Не встану! Пока не скажешь, что любишь. Скажешь?.. Послушай, Каракоз, но ведь любишь, да? Любишь? Просто не могла сказать раньше?

— Пусти!! — Она наконец выхватила платье из его цепких рук и отбежала в сторону.

Камариддин медленно поднялся, бессильно опустив руки. Лица его в темноте не было видно, слышалось только тяжелое, прерывистое дыхание.

— Смотри, Каракоз...— тихо, угрожающе проговорил он.— Подумай как следует... С огнем играешь...

— Оставь меня в покое! — раздельно, внятно, что-бы ее слова сразу дошли до Камариддина, произнесла Каракоз.— Мало досаждала нам ваша семейка? Думаешь, не знаем, кто виноват, что Гаибназара сняли с должности учетчика? Думаешь, секрет, кто обо мне грязные сплетни по кишлаку распускает?

— Постой, Каракоз!

— Не ходи за мной! Тебе не видать меня, как своего затылка! У меня есть жених, которого я люблю! И скоро наша свадьба!

— Свадьба? — зловеще повторил Камариддин, подходя к ней.— Смотри-ка, как все у вас рассчитано... Как ты уверена в своем счастье... И тебе плевать на меня, да?.. Смотри, какая ты смелая... Ты ведь совсем не боишься меня, правда, детка? Ты просто топчешь ногами меня, мою любовь! — Он железными тисками схватил ее руки, зашипел прямо в лицо: — А если я изменю твои планы, а? Если твоя свадьба совершится сейчас, вот на этой траве?!

Он крепко обнял яростно сопротивляющуюся девушку и, дав ей подножку, повалил на землю. Молча, ожесточенно они боролись в кромешной тьме. Изловчившись, Каракоз сильно укусила Камариддина в плечо. Он вскрикнул, схватился за укушенное место. Тогда, взяв подвернувшийся под руку острый камень, Каракоз с силой, какой никогда в себе не знала, со всего размаху стала бить его куда придется — по лицу, по голове, в грудь. Видимо, сразу она повредила ему глаз, потому что Камариддин, одной рукой прикрыв лицо, другой только беспомощно отбивался.

Бросив камень, забыв о рассыпанной вязанке, Каракоз кинулась в сторону кишлака. Добежав до тока, она заметила две фигуры, спешащие навстречу. Это были

Гаибназар и Энакиз. Каракоз замедлила шаг, вытерла слезы, быстро, судорожно перевязала платок на голове. Мать, едва увидев Каракоз, радостно вскрикнула:

— Вай, девочка моя, что ж ты так припозднилась? Я все глаза проглядела, душа весь день не на месте. Вот Гаибназар предложил выйти тебе навстречу. — Она обняла дочь, прижала к груди ее голову. — Господи, что ты так вспотела, такая разгоряченная!

— Волки... волки напугали... — с трудом выговорила девушка. — Я бросилась... бежать... все дрова растеряла.

— Аллах с ними, с дровами! — взволнованно сказал Гаибназар. — Ты могла погибнуть. Где ты собирала ветки? На Майликутане?

— Нет, я ходила на вершину, откуда упал Карши, — ответила она, отворачивая лицо.

— Ты с ума сошла! — воскликнула испуганно мать. — Одна, без попутчиков! И зря ходила. Гаибназар принес сегодня дров достаточно.

Ни мать, ни Гаибназар не видели в темноте ее смертельно бледного лица, расширенных от ужаса зрачков. Молча шла Каракоз рядом с ними, и сердце ее постепенно успокаивалось, билось ровнее, дыхание становилось спокойнее. Мать шагала чуть впереди, не умолкая ни на минуту, Гаибназар с Каракоз отставали на шаг-другой, парень крепко держал любимую за руку, словно боясь, что она исчезнет, растворится в темноте.

— Выйдешь попозже? — спросил он шепотом, нагнувшись к ней.

— Завтра, — помедлив, ответила девушка.

— Когда?

— Как взойдет луна...

Он еще крепче сжал ладонь Каракоз и провел ею по своему лицу.

— Никогда больше не ходи в горы одна. Хорошо? Она молча кивнула.

— Что ты сейчас будешь делать?

— Спать лягу... — сказала Каракоз.

— Устала?

Так же молча она кивнула. Только сейчас, когда Каракоз начала отходить от испуга, она почувствовала, как подгибаются от слабости колени, как кружится голова, и страх от сознания того, что могло случиться, холодит грудь, и тошнота подкатывается к горлу.

— А я так редко вижу тебя во сне, — продолжал

Гаибназар.— Правду, наверное, говорят, что любимых во сне не видят...

Они поравнялись с домом Каракоз. Девушка отворила калитку, вошла во двор и, обернувшись, вяло махнула рукой любимому. Гаибназар смотрел ей вслед. И даже когда за Каракоз закрылась дверь дома, он стоял еще некоторое время, рассеянно глядя вверх, на скользящую в ветоши туч луну, на острые силуэты тополей вдали.

## Глава шестая

День сегодня тянулся необыкновенно медленно. И солнце тащилось в зенит, как уставший дехканин на старом ишаке, потом бесконечно долго торчало там, на середине неба, и, наконец, стало сползать, словно не желая оставлять насиженного места.

У Гаибназара голова шла кругом: ведь они с Каракоз не договорились о месте свидания.

«Да не город же это! — успокаивал он себя.— Не потеряемся как-нибудь... Буду следить за калиткой. Как выйдет — я за ней...»

Уже с полудня, оставив дела, не слушая ворчания матери, он сидел у заднего окошка и наблюдал за домом Каракоз.

Отсюда видна была их кухня, кусок двора и старая, сбитая из двух ветхих досок калитка. Гаибназар и прежде любил сидеть здесь, посматривая на Каракоз. По воскресеньям на кухне она мыла голову. И в окне появлялась ее склоненная голова с густыми, напоминающими ветви плакучей ивы волосами. Вымыв голову, скрутив жгутом мокрые волосы, она выпрямлялась, и тогда в окне показывались ее белые хрупкие плечи. Ради этого момента Гаибназар готов был сидеть у окна часами.

Каракоз и сегодня мыла голову. Должно быть, к предстоящему свиданию. Потом она накинула платок и вышла из кухни.

Ожидая восхода луны, Гаибназар смотрел на Ойкор, на небо, усыпанное бесчисленными огоньками холодных звезд, и переживал, что над горами спустилась тьма туч и луна может совсем не выйти сегодня.

...За всю ее жизнь Каракоз впервые назначили свидание. И это было ново, неожиданно и ужасно волно-

вало. Прежде они с Гаибназаром всюду были вместе. Вместе ходили за дровами, вместе пригоняли стадо с пастбищ. Но тогда все было иначе. Тогда не придавалось значения, если кто-то опаздывал. А теперь... Ведь в доме Каракоз нет часов. Что же делать? Бывало, в дни поста Энакиз посылала дочь в дом учителя Абдураджаба — узнать, можно ли принимать пищу. А как быть теперь? Сидеть у окна и сторожить, когда вынырнет из-за туч новорожденный месяц?

Пришла с базара мать и принесла новость: вчера Камариддин, сын Самандара, был избит чабанами. Неизвестными чабанами, пришлыми, должно быть.

— Носит его черт-те где... — проговорила Энакиз, в душе жалея незадачливого племянника.

— Сам виноват, — хмуро пробормотала Каракоз, не сводя глаз с вершины Ойкора.

Часа через полтора тучи начали расползаться, небо из буро-черного стало бархатно-лиловым, вершины Ойкора посветлели, мягко засветились. И наконец, словно горделивая бровь красавицы, взошел над ледниками узкий серп молодого месяца, окутанный серебряной дымкой.

— Мама... я схожу к Яманкулу-бобо. Обещала его жене показать занавеску, которую начала шить... — сказала она уже из прихожей, стараясь не выдать волнения.

— Долго не сиди, — вслед ей бросила мать, — приходи скорее.

Каракоз выскользнула за калитку и неслышными шагами двинулась вдоль забора. И почти сразу открылась калитка соседнего двора — и худощавая высокая юношеская фигура так же торопливо и бесшумно поспешила за Каракоз. И никто на свете, кроме них двоих, не слышал, как оглушительно, на весь мир, горячими толчками бьются два сердца.

Минут через десять они уже добрались до холма Русского. Это и вправду был небольшой холм, где раньше, много лет назад, жил русский лесничий. Хмурый, неразговорчивый человек, трудившийся с утра до вечера, сразу полюбился здешним людям тем, что запретил стрелять в горах дичь и уничтожать растительность. Но когда царь приказал вырубить арчу на склонах гор, русский лесничий, как и Нурман-бобо, воспротивился преступному указу. Он ходил по кишлакам, разговаривал с дехканами, убеждал их не являться на рубку.

Узнав об этом, губернатор края арестовал лесничего и отправил его в Сибирь. Дом лесничего заколотили, люди из страха перед властями боялись приближаться к холму Русского. Здесь до сих пор сохранился пруд перед заброшенным домом, и в нем на все голоса вопили скандальные лягушки. Два старых карагача над прудом, посаженных еще русским лесничим, тоскливо перешептывались друг с другом под свежим ветерком, прилетевшим с гор, и казалось, они вспоминают что-то давно ушедшее, может, те времена, когда и они, деревья, и человек, который посадил их, были молоды и не думали о старости, о смерти, о человеческой несправедливости.

Каракоз с Гаибназаром долго сидели молча под старыми карагачами.

— Отчего у тебя глаза такие чернушие? — наконец спросил он, заглядывая ей в лицо и влюбленно улыбаясь.

Она усмехнулась, выдернула травинку из земли и прикусила ее зубами.

— Когда мама носила меня, один дехканин на базаре не угостил ее дыней, хотя она долго стояла перед ним и в горле у нее пересохло. Оттого глаза такие черные, как жажда.

— Какой скупой человек, неужели и кусочка не дал?

— А тебе плохо оттого, что не дал? — лукаво потупившись, спросила она.

— Старик, должно быть, в тот момент обо мне позаботился,— сказал Гаибназар, и они рассмеялись оба.

— А вот ты ответь: почему у тебя ухо проколото, как у девушки? — спросила Каракоз.

— Я в детстве был плаксой. А ты же знаешь эту примету. Мама отнесла меня к бабушке Нозик, и та иголкой проколола мне одно ухо.

— Поэтому сейчас ты никогда и не прослезисься...

— Наверное, в детстве вы исполнил план по плачу.

И опять они улыбнулись. Думая днем о свидании, представляя, что скажут друг другу, когда останутся наедине, оба совсем не предполагали, что будут вот так легко болтать о вещах, совсем для них несущественных. Над головой шумели кроны двух стариков карагачей, как будто осуждая их за пустяковый разговор.

— А я вчера с Нурманом-бобо разговаривала,— вдруг сказала Каракоз задумчиво.

— О чем вы говорили?



— Он рассказывал о том, как его преследовал белый царь.

— Любит тебя старик! Редко он об этом рассказывает. Может, и о Покизе рассказал?

— Нет...— Она даже плечами передернула, как от прохлады.— Я побоялась спрашивать.

— А я спросил однажды, в детстве.

— Правда?!

— Да.

— И что он сказал? — Девушка смотрела на Гаибназара широко открытыми от страха и любопытства глазами.

— Ничего не сказал. Поглядел так гневно, словно я враг какой-нибудь, поднялся и ушел в дом не попрощавшись...

— Гаибджан... А вот если... Если б ты тогда, много лет назад, оказался на его месте... Что бы ты делал? — серьезно и неожиданно спросила она.

Гаибназар задумался, долго смотрел на бледно-голубые под светом вершины гор и наконец проговорил:

— Да ну, Каракоз, с чего тебе пришло в голову? — И, обняв ее за плечи, притянул к себе, погладил по волосам.— У нас все иначе будет. Да и в другое время живем...— Он вдруг усмехнулся, вспомнил о чем-то и сказал: — Ты знаешь, говорят, Камариддина избили чабаны.

— Знаю,— коротко ответила она.

— Глаз чуть не вытек, синяки на лице, на голове шишки.

— Я знаю.

— А главное, неизвестно, кто это сделал.

— Известно,— хмуро обронила Каракоз.

— Да нет, он сам не знает, кто это!

— Это я... — спокойно сказала она.

Гаибназар вытаращил глаза и несколько мгновений как немой смотрел на девушку.

— Брось,— наконец проговорил он.— Как ты сумела?

— Очень просто,— неохотно ответила Каракоз.— Злая была очень. Побила, и все. Он преградил мне дорогу и... в общем, мерзавец.

— И ты молчала до сих пор?! — крикнул он и, вскочив на ноги, в волнении заходил вокруг деревьев.— Негодяй! Ну ладно, пусть живет до завтра! Я ему покажу...

— Перестань,— возразила Каракоз.— Ты хочешь,

чтобы весь кишлак говорил об этом? И так разговоров хоть отбавляй... И мама узнает... И потом, достаточно я его поколотила. Если бы ты видел! Я так разозлилась, так испугалась!

Гаибназар, все еще возмущенный и воинственно настроенный, пожал плечами.

— Девушка побила!.. Герой, ничего не скажешь. Вот уж правду говорят: от подлеца ожидай любого поступка... Времена не те, а то б я ему показал... Он свою голову с подбитым глазом за спиной в мешке таскал бы...

Каракоз, обняв колени, смотрела на горы и замечала каждый новый огонек — вот третий зажегся, вот еще один, еще... Это светились костры чабанов. И чем выше поднимался месяц, тем в больший мрак погружались горы и тем ярче горели крохотные огоньки костров.

— Отчего Нурман-бобо так долго не хоронил Покизу? — медленно спросила она, не отрывая взгляда от далеких костров, словно спрашивая не сидящего рядом с ней Гаибназара, а эти одинокие, разбросанные по горам огоньки.

— Говорят, пока не прочтешь заупокойной молитвы над телом умершего, он продолжает все слышать, — тихо ответил Гаибназар. — Нурман-бобо не мог себе представить, что тело его любимой будет зарыто в землю. Храня ее в ледниках, он рассказывал ей все, что было у него на душе. Ведь ему казалось, будто Покиза слышит его... И до сих пор не прочел над ней заупокойной молитвы. Верит, что однажды она проснется от тяжелого сна.

— Как все это прекрасно, правда, Гаибджан? Наверное, это и есть настоящая любовь?

— Наверное...

— Знаешь, а я завидую Покизе. Лучше прожить короткую жизнь и остаться вечно юной и прекрасной в памяти любимого, в памяти народа, чем состариться в этом кишлаке, думать о дровах, о мучной похлебке, видеть физиономии Камариддина и Самандара и умереть горбатой морщинистой старухой... Вот что бы я хотела: уйти в ледники, отыскать там ледяную постель спящей Покизы и крикнуть ей: «Здравствуй, Покиза!» Она обрадуется. Ты же сказал, что она все слышит.

— Не говори так, не надо! — воскликнул Гаибназар и схватил ее за руку. — Даже не по себе как-то стало... Хватит думать о Покизе, а то она приснится. У тебя будет совсем другая судьба.

Ветер доносил сюда запахи горных трав. Сзади

мрачно и печально высился заколоченный дом Русского. В прогнивших досках его ступеней цвиркали сверчки.

— Эта наша встреча никогда больше не повторится, да, Гаибджан?

— Почему ты так говоришь, любимая? Мы всегда будем вместе! — взволнованно возразил он.

— Но через год в это время я уже буду на год старше.

Он засмеялся ласково.

— Ты не постареешь, Каракоз.

— Почему?

— Не знаю. Просто никогда не постареешь...

На Ойкоре погас последний костер, и снега на вершинах заблестели, будто слюда, под желтым призрачным светом месяца.

— Пора, — сказала Каракоз, как зачарованная, не отрывая взгляда от чернеющей на склоне горы тополиной рощи. — Костры погасли...

В кишлаке вяло, нехотя перекликались по дворам собаки. Перед калиткой Гаибназар удержал девушку за руку.

— Каракоз... А ты так и не ответила на мои стихи... Помнишь?

Она смутилась, пожала плечами.

— Я не умею сочинять стихов, Гаибджан... — Но, увидев его растерянное лицо, улыбнулась: — Напишу... Попробую...

Калитка открылась со скрипучим стоном и захлопнулась. Минуту они стояли, молча глядя друг на друга, по разные стороны изгороди. Потом Каракоз пошла в дом.

Провожая ее глазами, Гаибназар отчего-то вспомнил слова бабушки Нозик о том, что человек рождается заново через семь или четырнадцать поколений. Каракоз очень верила в эту легенду, как и во все, что говорила когда-то бабушка Нозик. И сейчас Гаибназару очень захотелось, чтобы это было правдой, чтобы когда-нибудь, через много десятилетий, юная Каракоз так же молча смотрела на него из-за изгороди, а он, такой же молодой и сильный, глядел ей вслед и любил бы ее, любил, любил, как жизнь свою...

Лукавый желтый месяц все дальше уплывал вверх, словно оттолкнувшись от вершин самых высоких гор, и Ойкор казался прозрачным и хрупким в его нереальном, сказочном свете...

## Глава седьмая

Пришел наконец и день свадьбы. С самого утра, по обычаю, Каракоз сидела в доме Яманкула-бобо в задней крохотной комнатке без окон и ждала, когда придут за ней, за невестой. Сейчас она жалела, что Гаибназар живет так близко — за забором; значит, за ней не придут, как за другими невестами, на белой лошади. Придется идти пешком, а это не так красиво, как могло быть... Впрочем, больше всего на свете она сейчас хотела, чтобы день свадьбы пролетел поскорее. Обряды, связанные с ними хлопоты действовали на Каракоз удручающе. Время от времени в комнатку вбегала раскрасневшаяся, возбужденная Гуландом и сообщала новости:

— Пришла тетя Масто́н, ничего не принесла, сидит надувшись. А до нее приходил пьяный Камариддин, всех обругал, опрокинул на себя миску с мукой... Ой, потеха! Мужчины выволокли его на улицу: морда белая, вся в муке, рот как черная дыра!..

И выскакивала опять — за новостями. В комнатке было сумрачно, прохладно, жужжала одинокая печальная муха. Сердце Каракоз билось неровно, горячо, и радостно было и горько отчего-то. Все время вспоминался отец.

«Вот и настал день моей свадьбы, отец,— думала Каракоз. И, как всегда, ее воображение мгновенно рисовало черты дорогого лица, и лицо это оживало, улыбалось ей.— Выхожу я за Гаибназара, сына нашей соседки Ташбуви. Несчастливцы. Помните, я рассказывала вам о нем. Я люблю его больше всех на свете, отец! Но мне так жалко маму...»

Потом несколько женщин зашли в дом к Яманкулу-бобо, напоили Каракоз «свадебной водой» и с песнями, знакомыми ей с детства, повели в дом к жениху...

Никогда еще Каракоз столько не плакала. То ли не думала прежде, что жизнь ее изменится, не ощущала это так остро. И мать, когда уводили Каракоз, плакала в голос, причитала:

— О-ой, не дожил отец до твоей свадьбы!.. Не видит он сейчас свою взрослую дочь...

А может быть, так всегда бывает, если радость смешивается с печалью,— человек плачет, не в силах остановить себя...

Каракоз слышала, как во дворе весело перебрасываются шутками, задирают друг друга ребята. То и дело раздавался отчаянный визг, хохот, крики.

— Вот негодники, разве так ведут себя те, кто приходит за выкупом! — возмутилась одна из старух.

— А что случилось? — спросила ее другая.

— Да вот друзья невесты просили выкуп у жениха. Дали им овцу и семьдесят рублей. А они кричат: «Маленький выкуп!» Да и насыпали на головы жениха и его друзей нас. Всем в глаза попал.

Каракоз, низко опустив голову под свадебной белой паранджой, слышала эти разговоры как сквозь сон, и вяло думала: «Попал ли нас в глаза Гаибназару?..» Она сидела за занавеской из красного ситца и тихо плакала.

Потом их стало двое. За занавеской появился Гаибназар, хмурясь и потирая покрасневшие от табака глаза. Он взял в обе руки голову Каракоз и прижал ее заплаканное лицо к своей груди, успокаивая, как обиженного ребенка...

...Через четыре дня после свадьбы Гаибназар уже вышел косить.

Ночью он проснулся от резкого испуганного вскрика. Это кричала Каракоз. Она лежала рядом, запутавшись в густых черных волосах, и металась во сне. Лицо ее было бледно, веки подрагивали, горячие губы шептали что-то бессвязное. Гаибназар тихо убрал пряди волос с ее лба, легонько подул на вздрагивающие веки, в который раз залюбовался маленькой родинкой под губой. Каракоз притихла. Тогда он подтянул одеяло, окутывая ее плечи, и прикрыл глаза. Через несколько минут он уже засыпал, но новый крик жены, отчаянный и жалобный, заставил его сесть на постели.

— Покиза, сестра, помоги! — стонала Каракоз. — Спаси, освободи, Покиза!

— Проснись, Каракоз! Что ты, проснись! — И даже когда она уже открыла глаза, он все еще гладил ее щеки, лоб, приговаривая обеспокоенно: — Ну, что ты, что ты?..

— Испугалась... — тяжело дыша, пробормотала Каракоз.

— Чего испугалась, родная?

— Страшный сон увидела...

— Это такое время, предрассветное, помнишь, бабушка Нозик говорила — снятся всякие ужасы... Забудь свой сон...

— Мне никогда еще не было так страшно... Горели

вечные ледники, понимаешь, не таяли, а горели, и вокруг все, весь снег был черным как сажа. И вдруг я увидела Покизу. Они сидела верхом на коне и сама была черной, будто обугленной... Я хотела крикнуть, но голос пропал. Я почувствовала, что сама занялась пламенем, и бросилась к Покизе, умоляла, чтоб она спасла меня, но она повернула коня и поскакала прочь...

— Тысячу раз я тебе говорил: не вспоминай так часто Покизу! — расстроено воскликнул он. — Да и кто знает, есть ли она вообще, а ты все твердишь о ней, как заколдованная... Так недолго и с ума сойти...

— Только бы не случилось чего...— проронила Каракоз, все еще не приходя в себя.

Гаибназар поднялся и, достав из ниши пиалу и глиняный кувшин, налил в него немного воды.

— Выпей,— сказал он, подавая Каракоз пиалу. В серых рассветных сумерках его обнаженные плечи и грудь казались медными.— Не думай больше об этом,— повторил он, лег рядом и крепко обнял ее.

Каракоз лежала неподвижно, в темноте белела ее закинутая за голову рука. Она молчала,— видно, продолжала думать о приснившейся ей Покизе.

— Ну очнись, очнись...—прошептал Гаибназар, гладя ее лицо и прохладное упругое плечо...— Не думай...

До рассвета они так и не уснули. Чтобы забыть страшный сон, тихо проговорили до самого утра.

Утро пришло свежим и прекрасным. Не умолкая журчала вода в сае. Неизвестно о чем бормотал резвый, берущий начало в горах ручей. Может быть, вот об этом: «Послушайте, я принес вам всю красоту Ойкора — тайный шепот плакучих ив, зазывное пение кекликов, печальные стоны газелей, гулкое эхо гор и камней! Спешите! Кто ранним утром говорит горной реке «здравствуй», для того день будет счастливым».

Утром, как обычно, Гаибназар ушел на жатву. Казалось, оба они забыли неприятный сон. И, наверное, не вспоминали бы вовсе, если бы...

В полдень на взмыленной лошади прискакал Маткабил. Багровое лицо его было потно, искажено странной гримасой. Жнецы, едва увидели его на дороге из кишлака, побросали работу и с тревогой стали вглядываться в приближающегося всадника. Маткабил осадил коня прямо перед бригадиром Сулайманом-ака и сказал хрипло, тяжело:

— Война!

Люди застыли с серпами в руках. Все продолжали смотреть на Маткабила, словно он мог добавить что-то утешающее, объяснить, ободрить. А он вытер рукавом рубахи пот с пылающего лица и крикнул, приподнявшись в седле:

— Люди, война-а-а!!

И тогда, разом все поняв, зашумели, запричитали жнецы. Тихо плакал Дустмурад-бобо: у него старший сын был в армии...

После этой ужасной вести никто уже не взялся за работу. Все, подавленные, растерянные, возвратились в кишлак.

Каракоз ждала Гаибназара у калитки. И, завидев его издалека, бросилась к мужу, припала к рубашке, пахнувшей полевой травой. Гаибназар обнял ее с любовью.

— Что делать? — спросила она, взглянув на него заплаканными глазами. Он не ответил, хмурился, прижимая к груди ее голову.— Не забыл, как ты в детстве мечтал стать красным солдатом? — укоризненно напомнила она.— Видно, ангел войны услышал это однажды и сказал «аминь»...

— Господь с тобой, Каракоз, разве дело во мне? Горе пришло ко всем людям. Теперь солдатами станут многие...

— И ты уйдешь?! — воскликнула она.— Тогда и меня возьми с собой?! Я не останусь одна. Те, кто пялит на меня глаза, как волки, разорвут меня!

— Успокойся, Каракоз, что ты... Сейчас не такое время, чтобы думать только о себе. Помнишь, в школе сиротам раздавали одежду и нам с тобой выдали пальто, ботинки. Ты была совсем маленькой и спросила меня: «Кто прислал все это?» Я ответил: «Дедушка Государство»,— и все смеялись. А ботинки тогда пришлись очень кстати, ведь мои совсем изорвались, но я все равно берег их, нес в руках, а сам бежал в школу босиком, по снегу. И когда ноги сильно замерзали, я грел их в родниках у обочины дороги. Тебе было жаль меня, ты бежала следом и плакала. Потом мама отнесла те ботинки мастеру Тиловкобилу-бобо, но он не взялся починить их. В тот день, возвращаясь из школы, мы встретили ничего, и я отдал старшие ботинки ему. Он даже заплакал от умиления, и все без конца благословлял нас, и крикнул вслед: «Позовете меня на вашу свадьбу!» И нам было это ужасно смешно... А теперь, когда пришла такая беда, если каждый из нас не по-

думает о государстве, не встанет на его защиту, дети вообще не смогут ходить в школу и вся жизнь перевернется, Каракоз.

Каракоз плакала безутешно, горько, уткнувшись лицом в его выцветшую голубую рубашку:

— Повяжи платок! — мягко сказал ей Гаибназар. — Вытри глаза. Как ты побледнела! Наверное, ничего сегодня не ела. Пойдем в дом...

Ташбуви не плакала — сухими тоскливыми глазами она глядела на сына, как будто хотела наглядеться впрок на всю жизнь.

Они молча обедали.

— Многие сейчас уйдут добровольцами, — прервал молчание Гаибназар.

— Смотря кто... — хмуро возразила мать. — Найдутся и такие, кто через Ойкор уйдет в сторону Пенджикента... Говорят, уже сегодня несколько человек, не заходя домой, прямо с поля ушли в горы...

— Болтовня! — раздраженно заметил сын. — Кумушки сочинили.

— Кумушки?! — воскликнула Ташбуви. — Так вот, представь себе, что Камариддин исчез сразу, как только узнал о войне. Уж этот шкурой чувствует опасность. Все быстро понял и удрал не мешкая...

— Он — другое дело. Из этой собаки лишь предатель и мог получиться.

— А Юсуф-Дум каков? Говорят, собирается отправить сына в Душанбе учиться. Хорошенькое время выбрал для учебы! Других парней на фронт отправляет, а своего припрятать хочет.

Каракоз не вмешивалась в разговор Гаибназара с матерью. Ей не было дела сейчас ни до кого на свете. Мысль, что Гаибназар может скоро покинуть ее, терзала Каракоз и причиняла невыносимую тоску и тревогу.

— На днях в кишлак приезжает представитель военного комиссариата. Мы с ребятами договорились: уйдем все вместе, — произнес Гаибназар, не глядя на мать и жену.

— На днях! Так скоро?! — Каракоз смотрела на него с мольбой и отчаянием.

— Да. — Он низко опустил голову, почти машинально продолжая есть остывший суп.

Пришла Энакиз, обняла зятя, поплакала.

— Что делать, что делать? — приговаривала она горестно, целуя его в глаза, в лоб.



Ташбуви принесла для Энакиз пиалу с супом, поставила на дастархан перед сватьей. Но та есть не стала.

Так и сидели они молча, лишь изредка перебрасываясь печальными словами, вздыхая тяжело, поглядывая тайком на Гаибназара. А он чувствовал себя виноватым, что оставляет троих дорогих ему людей, но иначе поступить не мог и думать не мог об иной участи, как только о той, чтобы в эти первые ужасные дни и до самого конца — своего или войны — быть вместе со всеми, сражаться, стоять насмерть.

## Глава восьмая

Наутро третьего июля по радио говорил Сталин. Возле длинного одноэтажного здания школы под репродуктором толпились люди и, напряженно подняв головы, жадно слушали. Они верили в этот голос и ждали новостей, которые могли бы обнадежить, внушить веру в благополучный конец огромного несчастья.

В центре толпы, окруженный со всех сторон, прямо под репродуктором стоял Исмаат-арбакеш\* — он понимал по-русски — и, яростно жестикулируя кулачищами, беспорядочно и горячо переводил:

— «Товарищи! Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои...»

Беда пришла безмерная, все это чувствовали.

Каракоз с Гаибназаром стояли тут же. Он сжимал ее руку так сильно, что ей впору было вскрикнуть от боли, но Гаибназар не замечал этого и все продолжал судорожно стискивать руку Каракоз, словно боясь, что жену отнимут...

Женщины плакали. Слишком много сыновей, мужей, братьев должны были уйти на войну.

Через два дня в кишлак приехал представитель военного комиссариата. Узнав об этом, парни разыскивали его по всему кишлаку.

— Где же он? Где остановился?

Наконец кто-то сказал: у Юсуфа. Все возмутились.

— Не нашлось другого дома?

— Где справедливость? Представитель военного комиссариата в гостях у человека, который с первого дня войны отослал сына подальше?

---

\* Арбакеш — возница; здесь кличка.

— Чего ты шумишь, откуда постороннему человеку знать Юсуфа и его грязные делишки?..

— Куда определили, там и остановился.

— Неправда! Представитель государства должен принимать нас в официальной обстановке!

— Правильно говоришь!

Наконец, пошумев, отправились все к дому Юсуфа. У резных широких ворот остановились, и приятель Гаибназара Джура, подняв с земли камень, сильно постучал им в ворота. Несколько минут спустя приоткрылась калитка и в ней появилась бритая блестящая голова Юсуфа-Дума. Он помаргивал заплывшими лисьими глазками.

— Заходите, джигиты, заходите. Мы ждали вас,— суетливо твердил он, всем видом показывая, что готов принять гостей.

— А что, пошлете учиться в Душанбе? — громко спросил Джура.

Юсуф побагровел, ответил, скосив глазки:

— Пошлем, если поедете...

— Не поедем. Пусть трусы учатся... как от фронта увиливать. А у нас дело поважнее.

— Хватит, ребята,— вмешался Гаибназар, успокаивая товарищей, и повернулся к Юсуфу: — Человек из военного комиссариата у вас?

— Здесь он, здесь, проходите.

— Вызовите его сюда.

— Вай, джигиты, зачем человека от дастархана поднимать? Заходите в дом, так будет лучше!

— Вам говорят, позовите! — крикнул Джура, протискиваясь к Юсуфу. — Что за человек этот представитель! В такое время посиживает, чай распивает!

Поняв настроение юношей, хозяин молча, шаркая большими калошами, побрел в дом. И вскоре оттуда, сопровождаемый Юсуфом, вышел худощавый, небольшого роста, смуглый человек с волевым лицом, на котором круто выпирали скулы, подбородок, височные кости. Одет он был в офицерскую форму.

— Здравствуйте, ребята,— негромко и просто сказал он. — Извините, заставил вас ждать. Ну, куда пойдём? Ведите.

И все молча отправились к холму Русского. Впереди шел офицер, следом парни. Юсуф-Дум семенил сзади. Неожиданно его взгляд встретился с взглядом Гаибна-

зара. И Юсуф отчего-то растерялся и, неловко улыбнувшись, спросил:

— Слышал, ты женился, Гаибназар... Хотел зайти поздравить, да все никак не соберусь...

— Появились дела поважнее, Юсуф-ака,— сдержанно ответил Гаибназар и больше уже не отвечал ни на суетливое поддакивание Юсуфа, ни на его причитания о «проклятом фашисте».

Поднявшись на холм, офицер сел на теплую землю, густо поросшую травой, и открыл старую, потертую кожаную папку.

— По очереди, ребята. Фамилия, имя...

Он записывал не торопясь, своими жестами и словами сообщая спокойную уверенность парням из кишлака. Потом выдал повестки и, попрощавшись с каждым за руку, сказал:

— Итак, в будущий понедельник всем в военный комиссариат. К отправке подготовиться как следует. Побольше набирайте теплой одежды.

В доме Ташбуви готовились к отправке Гаибназара. Выстиранная руками Каракоз одежда висела во дворе на веревке и вздымалась от порывов теплого летнего ветра. Ташбуви толкла в ступе толокно, стараясь стоять спиной к детям, чтобы не видно было быстрых слез, катящихся по лицу прямо в ступу. С самого утра приходили соседи, приносили каждый что мог: кто несколько шариков курта, кто немного кураги.

Во дворе Энакиз вдоль арыка весной Каракоз посадила тыкву. Одну, самую спелую, Энакиз срезала и сделала с нею самсу, приговаривая, пока она пеклась:

— На счастье, на здоровье, чтоб все хорошо кончилось.

С невысокого, согнувшегося от тяжести плодов дерева она сорвала несколько груш — первых в этом году.

— Пусть попробует, прежде чем уедет.

Вечерело... Возвращалось с гор стадо овец. Но ребяташки уже не приветствовали его радостными выкриками — все было тихо. Да и время текло необычайно медленно. Гаибназару, сидящему на своем крыльце, казались маленькими сейчас и дом и дворик с арыком, даже Ойкор будто стал меньше. «Но он сможет остановить врага»,— подумал Гаибназар, с любовью глядя на знакомые с детства очертания вершин, на тополиную рощу, темнеющую вдали мрачной пятерней, словно ког-

да-то очень давно великан оперся рукой о склон горы — и след остался...

Неслышно подошла Каракоз, вытирая о передник мокрые после стирки руки. Он оглянулся, взял ее ладонь и прижал к своей щеке.

— Пойдем? — сказал он, поднимаясь.

— Куда? — удивилась она.

— В Дуланазар... В последний раз пойдем... Хочу запомнить родные места, какими будут они сегодня, в последний вечер, с тобой...

Когда они подходили к Дуланазару, из-за гор медленно и величественно выплыла луна.

— Есть еще время до полнолуния, а? — спросил Гаибназар, кивая на луну.

— Да,— тихо ответила Каракоз.— Хоть бы этот год пролетел скорее. Проклятый год змеи. Всегда что-нибудь случается в год змеи. Мне кажется, и луна сделалась другой — холодной и чужой. И пятен как будто стало на ней больше.

— И ей тяжело, моя родная. Нелегко, наверное, освещать эти безрадостные вечера.

— И все-таки она счастливей меня! Она никого не отправляет на войну...

Он молча притянул Каракоз к себе, обнял за плечи.

— Как ты думаешь,— спросила она,— если перейти Мажнунтолсай и Дуланазар и взойти на вершину Барсакелмес, далеко оттуда до ледников, где лежит Покиза?

— Почему ты опять вспомнила Покизу?

— Если мы ее не вспомним, то кто же?..

— Но сегодня не надо вспоминать! — возразил он, хмурясь.

— Я так люблю эти места, Гаибджан, особенно Мажнунтолсай — как увижу, сердце сжимается. Здесь каждая нива похожа на одинокую девушку. А может, раньше они и были девушками, вышли погулять, разбрелись по лугу, и вдруг волшебные чары превратили их в плакучие ивы...

— Вечно ты сочиняешь небылицы... Вчера мы с ребятами ходили к Нурману-бобо, получили его благословение. Старик опечален этой войной и уверен, что она будет долгой: приметы есть. Говорит: «Вернетесь — меня уже не застанете в живых...» Мне так жалко его стало.

— Гаибджан, неужели война будет долгой?

— Что ты, любимая, я скоро вернусь.— Он увидел, как в ее глазах, в ее черных глазах, которые он так любил, блеснули слезы. Тогда Гаибназар взял в ладони ее лицо, повернул к себе: — Не мучай меня так, Каракоз!

Она заговорила горячо, сбивчиво:

— Что мне делать, ну скажи, что мне делать?! Я не могу представить себе жизни без тебя! Хоть месяц, хоть неделю! Мы никогда еще не расставались.

— А сейчас пришло время расстаться. Но ты будь мужественной, будь терпеливой. Теперь вся работа ляжет на плечи женщин...— Он вспомнил хитрую улыбку Юсуфа-Дума, его повадки и глухо добавил: — Остерегайся старых волков кишлака.

...Густые сумерки мягко, бесшумно обволокли при- тихшие горы. Свечными огоньками затеплились над черными вершинами звезды. Огромный старый боярыш- ник в двух шагах от Каракоз затаился, словно черный медведь, караулящий добычу.

— Ой, боярышник! Вот здорово, сейчас нарву яго- док! — Она бросилась к кусту, нагнула верхние тонкие ветки.

— Зачем тебе?

— Секрет.

— Нет, правда, зачем?

— Нарву ягодок, нанижу на нитку, а ты пришьешь их под мышку, с изнанки гимнастерки. Это бережет от беды и ран — так еще бабушка Нозик говорила.

— Ты веришь этому?

— Бабушка Нозик говорила всегда только сущую правду. Знаешь, я вспоминаю ее чуть ли не каждый день. И очень тоскую, что нет ее в живых.

— Пять лет уже...— задумчиво произнес Гаибназар.— Да, лучшего человека я не знал. Она все умела, пом- нишь? Знала названия всех трав и умела лечить все болезни.

— А как она давала советы! Выскажешь ей, что на душе, и сразу легче становится...

Гаибназар потянулся к кусту — помочь Каракоз.

— Нет, не трогай! — воскликнула она.— Только я должна это сделать.

Она сосредоточенно искала что-то в ветках боярыш- ника, пригибала их низко, обламывала.

Лежа на спине, Гаибназар внимательно и влюблен- но смотрел на ее загадочные, мягкие, полные древней

женской тайны движения. При свете луны белело ее лицо, мелькали двумя тихими голубками руки, и сердце Гаибназара наполнялось неведомой ему до сих пор нежной тоскливой страстью, жадной, огненной силой желания. Каракоз рассовывала ветки по карманам жилета, проводила ими по глазам, бровям, сосредоточенно, трогательным шепотом читала молитву.

Гаибназар рывком сел на траву, обнял колени, сильно, мучительно хрустнул пальцами и негромко позвал:

— Каракоз!

Она оглянулась.

— Я собираю тебе ягоды. Вот, в твою тюбетейку.

— Иди ко мне...— проговорил он.

— Сейчас, беру полнуюю...

— Иди же...— тихо и страстно повторил он. И Каракоз вздрогнула от этого голоса и бросилась к нему, опустившись рядом на колени.

— Что? — дрожащим шепотом спросила она. — Чего тебе?

Он молча сильно обнял ее, увлекая за собой на траву, и тюбетейка выпала из ее рук, красные ягоды боярышника рассыпались, затерялись в густой пахучей траве...

Тихо, монотонно шумел листвою Дуланазар. Неподвижная медная луна играла маленькими камешками в сае. Вода бормотала что-то, сердилась, унося с собой камешки в дальние дали, а они не хотели покидать любимый сай, таинственные игры с луной и цеплялись друг за друга, пытаясь остановиться. С ближнего утеса донесся горький надрывный крик кеклика, гремя камнями, куда-то быстро пробежала газель...

Природа была опьянена любовью. Все сущее было только страсть.

На рассвете они вернулись в кишлак...

Запыленный грузовик с поднятыми бортами стоял возле школы. Шофер — русский парнишка с юным усталым лицом, ввалившимся глазами — время от времени покрикивал по-узбекски:

— Давайте, давайте, ребята! Пора.

Но отчего-то не ехал, все не ехал, с тоской оглядывая толпу провожающих. Плач, причитания, стоны слышались со всех сторон. Провожать ребят пришли близ-

кие и дальние родственники, и соседи, и просто знакомые — словом, перед школой собрался весь кишлак. В этой сутолоке, в слезах, в беспорядочном повторении прощальных слов Гаибназар никак не мог проститься с Каракоз по-настоящему. Все ему казалось, что главное-то он не сказал, что-то забыл и уже не вспомнит.

— Береги нож отца,— в который раз говорила Ташбуви.— Не потеряй, смотри! Вещь погибшего за веру спасает от несчастья.— И снова и снова целовала сына, не отпуская его от себя.

— Давайте, ребята! — взмолился шофер.

Стали наспех напоследок обниматься. Гаибназар наконец обнял Каракоз, прижался лицом к ее лицу. На губах его остались ее слезинки.

— Я тебе отвечу на стихи,— быстро, горячо бормотала она,— обязательно отвечу, завтра же! Ты напишешь?

— Я обязательно напишу, сразу же, как приедем! Каждый день буду писать, ты слышишь?

Грузовик заурчал, качнулся, подал назад и стал медленно разворачиваться.

— До свидания, мама! — крикнул Гаибназар, стоя в грузовике среди других парней, отчаянно машущих руками, что-то кричащих.— Каракоз оставляю на ва-ас! Прощайте, Энакиз-хола!

— Будь здоров, мальчик мой! Возвращайся с победой!

Он смотрел на высокую фигуру матери, на ее скуластое, темное от загара лицо, на маленькую, сутулую уже Энакиз-холу с непокрытой седой головой, на тонкую беззащитную Каракоз, стараясь все запомнить.

Когда грузовик отъехал уже метров на сто, Каракоз вдруг выбежала на дорогу и удивительно быстро помчалась вслед за машиной.

— Гаибджа-ан! — умоляла она, протягивая к грузовику руки. — Вернись, Гаибджан!

Шофер высунул рыжую голову из кабины, сморщился страдальчески, закрутил головой и прибавил газу.

## Глава девятая

На третий день после отъезда Гаибназара Каракоз вышла на жатву.

— Вай, нехорошо, не прошло еще и сорокаднейвья\*

---

\* Здесь то же, что медовый месяц.

после твоего замужества! — говорила Ташбуви. — Не хорошо, что люди скажут...

— Сейчас все выходят на жатву, — возражала Каракоз, — и старики и дети. В бригаде Гаибназара жнецов не хватает. Вот я и буду вместо него.

Бригадой теперь руководила Зухра-апа, женщина энергичная, мужиковатая, умевшая и поспорить, и с мужиками сцепиться. С этой женщиной считались все, — от председателя до табельщика. Тихонь она не любила, смеивалась над ними и всячески задевала. Зухра-апа трудилась не зная усталости с утра до поздней ночи и от других требовала того же. Не считая нескольких стариков, на полях работали одни женщины. Но обмолотом пшеницы и отправкой ее в район занимались мужчины, не призванные на фронт по каким-либо причинам.

Еще не кончилась жатва, как на поля высыпали сборщики колосьев. Напуганные голодом, который пророчили старики, они не оставляли на земле ни зернышка. Чабаны ворчали: на сжатых полях теперь невозможно было пасти скот. Приходилось угонять его подальше в горы.

Дни пролетали быстро, проходили недели, а конца войны не было видно. Письма от Гаибназара шли, правда, аккуратно, и Каракоз отвечала сразу, в тот же день, подолгу сидя возле керосиновой лампы, мусоля карандаш.

Она ждала ребенка. И это странным образом успокаивало ее, вносило мир и равновесие в ее истстрадавшую душу. Ей казалось, что, пока она носит его ребенка, с Гаибназаром ничего не может, не должно случиться.

Обе матери через день ходили на базар продавать кислое молоко. На вырученные копейки покупались драгоценные полкилограмма пшеницы. И это было очень кстати, потому что кончались запасы зерна, оставшиеся после ухода Гаибназара на фронт. Энакиз и Ташбуви, как сговорившись, подсовывали лучший кусок Каракоз. А когда она сердилась, уговаривали:

— Ты сейчас двоих кормишь.

Зима пришла холодная, с ветрами, с гололедом. Такой зимы не было в их краях лет пятьдесят. Старики качали головами, говорили про какие-то приметы. Ойкор стоял снежный, суровый, неприступно-холодный.

В эту зиму, как в детстве, Каракоз подолгу сидела у окна. Но теперь это было окно Гаибназара. Из этого



окна он всегда смотрел на нее, когда она мыла голову. К этому подоконнику прикасались его руки. Часто, оставаясь одна, Каракоз наклонялась и трогала руками побелевшие от времени доски. Вот только окошко было повыше, чем в доме Каракоз. Если не подложишь тюфяк потолще, то и на улицу не поглядишь. Хорошо было в доме у мамы: подбородок приходился как раз на край подоконника. Смотришь, смотришь, бывало, на улицу и не заметишь, как уснешь. А отцовская могила видна и отсюда. Чудно получается — день и ночь отцовская могила перед глазами, стоит только в окно взглянуть, а вот проведать отца, посидеть около его могилы — это случается только раз в год, на курбанхаит\*. Обычно они с матерью подходят чинно понурясь, торжественно и молча стоят над холмом, под которым лежит отец. Потом садятся, и мать принимается рассказывать разные разности, вспоминать времена, когда отец еще был жив. Рассказывает и плачет. А Каракоз вначале поплачет, а потом сидит тихонько, подбородок в колени уткнув. Энакиз обнимет ее и говорит нараспев, печально, подняв лицо к небу: «Аллах, дай Каракоз долгой жизни...» В первые годы после смерти мужа Энакиз все никак не могла успокоиться. Ничего не помогало. А потом старуха гадалка научила взять с могилы щепотку земли, размешать в воде и выпить. Говорят, это успокаивает. Земля холодная, со временем и страдающее сердце охладевает, забывается... Тяжелее всего страдания живых...

...В эти зимние месяцы Каракоз спала плохо, во сне металась, плакала, сны все были странные, отрывистые. Она просыпалась и сразу забывала их. Но тот сон о Покизе и горящих ледниках все помнила, все не выходило из головы обугленная Покиза на белом коне, черный как сажа снег, далекие, объятые пламенем ледники.

В эти дни она много плакала, и ее старались не оставлять одну. И свекровь и мать чувствовали состояние Каракоз. Почти каждый день она перебирала вещи Гаибназара, подолгу держа в руках ту рубаху, в которой он был в последний день, на Дуланазаре. Ребенок в животе толкался, будто устраивался поудобнее, и с каждым днем, прислушиваясь к его ласковой, несмышленной еще, нездешней жизни, она любила его все сильнее и еще больше думала о Гаибназаре.

---

\* Курбанхаит — мусульманский праздник жертвоприношения.

В эти дни почему-то все вспоминалось детство, и с высоты нынешнего сурового времени оно казалось тихим, отрадным и трогательным.

Иногда она повторяла про себя «Верблюда» — их песенку-считалку, которую придумал Гаибназар. Между вершинами Кизилташ и Учкул высилась гора, похожая на улегшегося верблюда. Давным-давно расшалившимся детям бабушка Нозик грозила: «Разгневаются вершины гор, задует ветер, разыграется буран. Встанет Верблюд во весь огромный рост и зашагает. Всех затопчет!»

Когда, случалось, поднимался буран, они хором просили Верблюда:

Верблюд! Вели успокоиться ветрам,  
Пусть не воют так страшно и дико.  
Ляг преградой на их пути.  
И покой придет к человеку.

И часто ветер затихал... Где же те прекрасные времена, вернутся ли?..

Каракоз мучилась вторые сутки. Люди говорят: «Солнце не должно вставать над головой роженицы дважды». Но, видно, права была Ташбуви, когда сетовала, что нет Гаибназара возле жены в такой день. Старухи верно толкуют: ребенок не хочет появляться на свет без отца. Не помогла и скатерть, дважды обнесенная вокруг головы роженицы\*. Каракоз металась, молча стискивая руками легкое покрывало.

К вечеру схватки стали невыносимыми. В минуты, когда отпускала тело мучительная острая боль, Каракоз приподнималась на локте, просила пить и, случалось, не успев поднести ко рту чашку, роняла ее, пронзенная парализующей судорогой в пояснице.

— Кричи, доченька...— плакала растрепанная, осунувшаяся за эти двое суток Энакиз.— Зачем ты молчишь?

Тускло горела старая керосиновая лампа, возле нее раздался голос почтальона. Он звал Каракоз. Ташбуви, разгоряченная, в калошах на босу ногу, выскочила во двор и, выхватив из рук почтальона солдатское письмо,

---

\* По мусульманскому поверью, это облегчает роды.

побежала в дом. Старик остался стоять во дворе обескураженный.

— Каракоз, доченька, письмо! Письмо от Гаибназара! Открой глаза, посмотри, его почерком написано письмо!

Она одной рукой пыталась приподнять отяжелевшую голову Каракоз, а другой поднесла конверт к ее глазам.

Но Каракоз вдруг, с неожиданной силой оттолкнув ее руку, выгнулась, мучительно напрягая спину, и закричала впервые за двое суток — пронзительно и страшно.

Ее дикий крик вылетел во двор, и старик почтальон, словно очнувшись, уважительно, с состраданием покачал лысой головой, улыбнулся в редкие седые усы и присел на крыльцо.

Отец шестерых дочерей и девяти сыновей, он знал, что вслед за этим криком должен последовать другой — крик новой жизни. И он последовал — жадный, требовательный писк новорожденного ребенка. Потом наступила хлопотливая тишина, нарушаемая лишь быстрым шарканьем калош по деревянному полу комнаты и отрывистыми негромкими возгласами.

Минут десять спустя дверь отворилась, из дома вышла пошатываясь измученная Ташбуви. Она опустилась на крыльцо рядом с почтальоном и сказала тихо и счастливо:

— Мальчик... Сын...

На ветке старого абрикоса с ней радостно соглашался удод.

На следующий вечер Каракоз уже писала ответ мужу...

«Здравствуй, Гаибджан! Он родился, наш мальчик... Чтобы ты вернулся скорее, а он бегал всегда и всюду за тобой, держась за твой палец, я назвала его Отакузи\*. Пока он смешной и ничего не понимает. Смотрит, моргает. Я спрашиваю его: «Где твой отец?» Он молчит. Обе бабушки уверяют, что он похож на тебя... Возвращайся до того времени, как он начнет говорить. Иначе что я отвечу, когда он спросит про тебя? В кишлаке у нас голод. Люди даже едят молодую траву и пухнут от этого. Много умерло зимой. У Дустмурада-бобо умер средний сын Шавкат. Да и сам старик еле ходит. Когда

---

\* О т а — отец, к у з и — ягненок. Буквально: ягненок при своем отце.

встречает меня, обязательно останавливает, спрашивает о тебе. Недавно его жена приходила, хотела одолжить немного кислого молока. Но мама унесла все молоко на базар. Я отыскала спрятанные матерью четыре кусочка курта и отдала бедняге. Она благодарила меня до самой двери — все пятайся и повторяет: «Дай аллах здоровья, дай аллах вам сына, здорового, красивого, да чтоб Гаибджан вернулся живым-здоровым». Но мама, возвратившись с базара, выбрала меня: «Хватило бы и двух штук, сейчас не время для гостинцев». Потом подумала и сказала: «Ладно, приближаются роды, хорошее дело сделала. Аллах даст, все обойдется, хорошо». Видишь, все так и вышло... Мы, к счастью, не голодаем. Матери прядут, каждый день носят на базар кислое молоко. Скоро жатва начнется. Говорят, всем женщинам опять придется выйти в поле. Мама говорит: «Подождешь, пока окрепнет ребенок, успеешь поработаться». Привет тебе от обеих бабушек, от маленького Отакузи. Когда ты приедешь?.. Гаибджан, когда ты вернешься ко мне?..»

После рождения Отакузи от Гаибназара перестали приходиться письма. Тяжело, тоскливо тянулись дни. Каракос прятала свой печальный взгляд, стараясь, чтоб не заметили ее тягостного настроения мать и свекровь, подолгу возилась с маленьким сыном. Каждое утро она бежала к школе — слушать новости с фронта, как будто спокойный, уверенный голос в репродукторе мог сказать ей что-то о Гаибджане. Ночью она не смыкала глаз. И тогда на ум ей приходил тот сон о Покизе и горящих ледниках. Всеми силами она старалась успокоить себя, уверяла, что Гаибджан здоров и просто по какой-то серьезной причине не может прислать весточку.

А однажды тайком сходила к старухе гадалке в соседний кишлак. Старуха умела заговаривать воду. Она поколдовала над большой пиалой, побормотала что-то однообразно и монотонно, наконец подняла голову.

— Жив ваш муж, жив. Вижу целые зерна пшеницы. Вернется. А что не пишет — так, может, ранен или в окружении...

Обрадованная Каракос сунула в руки гадалки узелок с кукурузной лепешкой и тремя шариками курта и, возвращаясь домой, всю дорогу напевала еле слышно: «Вернется, вернется, вернется!..»

Поля желтели, сбрасывая свой зеленый халат. Таяли снега на вершинах Ойкора.

...За день до начала жатвы, утром к ним пожаловал сам Юсуф-Дум. Позади, опираясь на палку, ковылял Элмурат, который стал ныне видным человеком в кишлаке, — он заведовал распределением трудодней и за последние месяцы так притерся к Юсуфу-Думу, что всюду ходил за ним по пятам.

— Ташбуви-апа, сами понимаете, какое время сейчас, — проговорил Юсуф, широко улыбаясь, и за его плечом сразу расцвела так же широко и приветливо улыбка Элмурата. — Вся работа сейчас на женщинах и стариках. Все обессилели. Так вот, пришел предупредить вас: пусть на жатву выходит ваша невестка. Негоже дома прятаться, когда все в поле...

— Но у нее грудной ребенок, Юсуфджан-ака! — взмолилась Ташбуви. — На днях только сорокадневье прошло, как родила. Пусть окрепнет немного!

— На жатве все женщины и у всех дети, — непреклонно и наставительно возразил Юсуф-Дум, а Элмурат подхватил:

— Ничего, на току детский сад организуем.

— Какой детский сад, дорогой! Он совсем крошка. Разве поступают так люди...

— Смотрите, Ташбуви, вас предупредили... Люди разные бывают. Кто неприятностей боится, а кого они и не тревожат, хе-хе, даже развлекают!

Юсуф-Дум переглянулся с Элмуратом и шагнул к двери. Тот поспешно заковылял следом...

Через день Каракоз вышла на жатву. Теперь на рассвете уходила на поле, едва успев покормить Отакузи, поздно вечером возвращалась — еле живая, с разламывающейся от усталости поясницей. Грудь болела и набухала от прибывающего молока, часто ее било в ознобе или вдруг жаром обдавало лицо и плечи, а ребенок недоедал, ему не хватало молока, сцеженного наспех, на рассвете.

Но хуже всего было то, что писем от Гаибназара все не приходило. Просыпаясь глубокой ночью, словно от толчка, Каракоз уже не могла уснуть и тихо плакала, стараясь не разбудить ребенка, теплым комочком лежащего рядом.

Большинство работающих на поле были девушки-невесты и молодые женщины. Разговоры и шутки не

смолкали ни на минуту. Пожилые арбакеши и рабочие на току поддевали женщин бесстыдными замечаниями, те ахали, возмущались, и часто за всех отвечала разбитная, языкастая Зухра-апа. Вокруг нее собиралось еще несколько таких же, как она, мужеподобных энергичных женщин, ничего не боявшихся, никого не стыдившихся. Подоткнув подолы платьев, они работали, не щадя себя, ни в чем не уступая мужчинам, переругиваясь с ними заодно и нахально.

Эти острые на язык женщины посмеивались над Каракоз.

Она никогда не прислушивалась к их разговорам, не смеялась на бесстыдные шутки, занятая своими горестными мыслями. Когда выпадали редкие свободные минуты, она садилась поодаль от всех, такая же задумчивая и молчаливая, не отвечая на едкие замечания.

Снопы, связанные бригадой, в которой работала Каракоз, отвозил к току рыжеволосый кудрявый мальчик по имени Хужа, с худошавым безусым лицом, на котором неизменно лучилась доверчивая, доброжелательная улыбка. Женщины баловали вниманием этого красивого мальчика, и он смущался, густо краснел, не отвечая на задиристые вопросы. С первых дней работы на поле Каракоз ловила на себе его восторженный преданный взгляд, но сразу отводила глаза, хмуря брови. Как только выпадало свободное время, он бросался помогать Каракоз вязать снопы, все так же ласково улыбаясь ей.

— Ты погляди, как Хужа вьется вокруг нашей молчальницы!

Женщины перемигивались, громко смеялись, но и во взглядах, и в обрывках их фраз проскальзывала откровенная зависть.

— Не подходи больше,— хмурясь, негромко сказала Каракоз Хуже.— Видишь, смеются люди. Сама справлюсь.

— Так они ж шутят! — с мольбой возразил он. Но перечить ей не стал, отошел к своей арбе и оттуда молча грустно смотрел, как работает Каракоз.

Этот мальчик своей доброжелательностью, открытым нравом, желанием помочь и угодить напоминал ей Гаибназара, и она отворачивалась, сжимая зубы, сдерживая подступающий к горлу комок слез.

Далеко-далеко к горизонту уходили желтые поля спелой пшеницы...

## Глава десятая

Когда она услышала эти страшные слова, ей показалось, что рухнул с невообразимым шумом Ойкор. А это просто заколотилось бешено ее сердце и в глазах потемнели разом небо, желтые поля, зеленые склоны гор. От неожиданности она даже не заметила, кто принес эту ужасную новость. Так и стояла на поле одна-одинешенька: все жнецы разбрелись после работы. Да и то правда — время тяжелое, у каждого свое горе... Но это... Вырвать бы язык тому, кто сказал: «Гаибназар перешел к немцам, вы слышали?» Страшная весть ходит среди женщин, передается от одной к другой. Кто это сказал, кто? Зухра-апа? Мاستон? Кто?! «Вы слышали, Гаибназар перешел к немцам...»

Как дошло это до забытого аллахом горного селения, за тысячи, тысячи километров от линии фронта?

Неправда! Не может быть! Ведь люди знают, что за человек Гаибназар! Он и немцам показал, кто он есть! Да, да, показал!

Господи, что будет, когда узнает мама...

С этого дня люди стали сторониться Каракоз. Только Гуландом, дочь Яманкула-бобо, заговаривала с ней по-прежнему просто и дружелюбно да часто подходил Хужа, помогал вязать снопы.

Казались вечностью длинные тягостные дни. Каракоз совсем замкнулась в себе, стала молчаливей, чем прежде, и работала много, ожесточенно.

В один из таких дней она вернулась с работы пораньше. С утра ей чудилось, что дома случилось неладное, заболел сын. И, сжав свой участок раньше срока, она отпросилась у учетчика. Домой почти бежала, не поднимая головы на встречных людей, глядя себе под ноги.

Но предчувствие обмануло ее: дома все было по-прежнему. Во дворе под старым карагачем на деревянной сури раскинулся в сладком дневном сне Отакузи. В маленьком кулачке он крепко сжимал зеленый стручок гороха. Рядом с ним задремала Энакиз.

Каракоз неслышно подслала к сури, загляделась на лицо сына с нахмуренными во сне, черными, как у отца, бровями, маленьким пухлым ртом. «Только бы ты был здоров, только бы ты был здоров...» — повторяла она про себя. Энакиз бормотала что-то в дремоте. Каракоз привыкла к этому с детства. Мать и прежде раз-

говаривала во сне, кого-то хвалила, кого-то ругала. Она стала такой беспокойной после смерти отца...

Энакиз проснулась, когда Каракоз, отойдя к арыку, умывала лицо бегущей прохладной водой.

— Что так рано сегодня, дочка? — воскликнула она, запроляя под косынку выбившиеся пряди волос.

— Отпросилась у учетчика. Показалось, что Отакузи заболел. Он вялый утром был... Я побыстрее все сделала и ушла.

— Не истязай так себя работой — надорвешься, — сказала мать. — Не забывай, что у тебя грудной ребенок.

— Ну, что вы, мама, как можно не работать в такие дни! — возразила ей Каракоз. — Саранча пожирает зерно, нужно как можно скорее закончить жатву. Говорят, в России ужасный голод.

— Это все тянутся несчастья прошлого года, года змен. Ты помнишь, и в прошлом году саранча напала на поля?

Каракоз поднялась, вытирая платком мокрое лицо.

— Идет кто-то... — проговорила она, прислушиваясь к шагам за калиткой. — Наверное, мама с базара возвращается.

Калитка распахнулась, и Каракоз с матерью застыли от неожиданности: во двор неспешно и важно, как к себе домой, вошел Самандар Холодный. Он прикрыл за собой калитку и развел руками, как бы собираясь обнять сестру и племянницу.

— Здравствуйте! — Он улыбался, всем своим видом давая понять, что не происходит ничего особенного — к одной пришел брат, к другой — дядя. Все по-родственному, по-хорошему. — Как поживаете, мои дорогие?

Энакиз засуетилась, бросилась встряхивать шкуры на деревянной сури и расстилать их снова.

— Проходи, братец, проходи... Слава аллаху, ничего поживаем, ничего...

— Как живешь, Каракоз? Почему никогда не зайдешь к нам? — продолжал спрашивать Самандар, удобно усаживаясь на сури. — Родственников забывать — грех.

— Зайдет, братец, зайдет, — торопливо заговорила Энакиз. — К кому же ей еще ходить, как не к родному дяде. Как здоровье твое, дорогой, Мастоной не болеет?

— Слава аллаху, ходим потихоньку, — усмехнувшись, ответил Самандар. — Тянемся понемногу... Хотя, конечно, тяжело приходится, как и всем.



Каракоз, взяв на руки Отакузи, молча отошла к крыльцу и села там, не скрывая неприязненного чувства к дяде.

Он, искоса взглянув на племянницу, продолжал:

— Вот пришел проведать, все-таки родная кровь, надо, думаю, заглянуть...

— Дай аллах здоровья тебе, братец. Конечно, близкие люди не должны забывать друг друга...

Воцарилась тягостная пауза. Энакиз теребила концы платка, не зная, что еще сказать брату. Каракоз упорно молчала.

— Похоже, эта война затянется... — начал Самандар осторожно.

— Да! — подхватила торопливо Энакиз. — Такое горе!

— Еще и Гаибназар, проказник, что-то там натворил. Мог бы с умом все сделать. Поговорить там с каким-нибудь доктором, какую-нибудь бумагу-справку достать, как это люди делают... Вернулся бы, как участника войны мы б его здесь почестями не обделили... — Он обращался к сестре и не видел, как побелев, прижимая крепко сына, медленно поднималась с крыльца Каракоз. — ...Сделали бы отвечающим за урожай, и все остались бы довольны...

Казалось, он говорил с удовольствием, и даже потерянную и слезы в глазах сестры будто доставляли ему огромную радость.

— Что ты сказал?!

Самандар оглянулся — перед ним стояла бледная, еле сдерживающая ярость Каракоз.

— Ты, подлец, пришел поздравить нас с этой страшной вестью? Убирайся! Эти слухи распускаешь ты и тебе подобные!

Самандар вскочил, попятился к калитке, с возмущением размахивая руками:

— А ты молчи! Жена изменника! Я виноват, видите ли, перед ними, что пришел проведать! Да подышайте себе, как собаки! Еще и вас расстреляют из-за этого пса-предателя!

Отакузи на руках Каракоз заплакал громко, жалобно. Она молча сунула мальчика оторопевшей Энакиз и, подбежав к сараю, схватила тяжелые вилы. Увидев это, Самандар, испуганный, бросился к калитке.

— Опомнись, Каракоз! — пронзительно крикнула Энакиз.

Но Каракоз, с необыкновенной легкостью подняв вилы, ринулась на Самандара.

— Гаибназар — предатель?! Это твой сын, которого ты упрятал за Ойкор, предатель! Убирайся отсюда, подлец! Я убью тебя! — кричала она, не владея уже собой.

Самандар, громко ругаясь, убежал вдоль забора прочь от дома сестры.

Каракоз с силой воткнула вилы в землю и зарыдала. Ей вторила жалкая, насмерть перепуганная Энакиз. Эту картину и застала вернувшаяся с базара Ташбуви. Молча, угрюмо выслушав всю нехитрую историю, она решительно проговорила:

— Довольно. Завтра поеду в район.

— Зачем? — спросила Энакиз.

— В военкомат поеду. Там все знают, должны знать. Пусть они скажут мне, что мой сын — предатель.

Ранним утром она вышла из дому и на попутном грузовике уехала в район.

...Возвратилась она под вечер, когда смеркалось. Тот же колхозный грузовик притормозил на дороге у поворота, где часа два неподвижно, как солдат на посту, ждала свою свекровь Каракоз. Машина еще не остановилась, а Ташбуви уже кричала прямо из кузова:

— Неправда! Все неправда! Клевета! — И выбравшись из грузовика, горячо продолжала рассказывать невестке: — В военкомате сказали: «Мамаша, нам такое сообщение не поступало. Спите спокойно, мамаша». — Она засмеялась. — Рыжий такой военный, веселый! — И повторила, копируя военного: — «Мамаша, мамаша!» Проклятые, не оставляют в покое ни живых, ни мертвых, ни тех, кто далеко, ни тех, кто близко... Милостивый аллах! Пусть мой сын вернется живым и невредимым, он покажет вам! Губы в кровь разбила бы негодьям, кто распустил этот слух!

И долго еще Ташбуви грозила кулаком неизвестно кому и снова начинала рассказывать плачущей Каракоз все сначала, с того момента, как открыла она дверь в помещение военкомата.

А сверху, с роскошного темно-синего бархата неба, смотрела безразлично медно-желтая луна и видела две женские фигуры, бредущие по пыльной дороге в кишлак: одну — высокую, костистую и крепкую, другую — трогательно тонкую и беззащитную.

Труд был спасением. Только работа отвлекала Каракоз от назойливых мрачных мыслей. Она жала, вязала снопы, сама относила их на ток, снова жала, снова вязала. Ничто не убивало так, как страшные картины гибели Гаибназара, являвшиеся в ее воображении непрошено и ярко, убеждая больше, чем любая действительность. Она отгоняла ужасные мысли и принималась за работу еще ожесточеннее.

Время от времени приходилось спускаться к саю. На берегах его, густо заросших высокой травой, в изобилии росла дикая мята, которой перевязывали снопы. Как-то, нарвав пучок мяты, она поднималась от реки и вдруг услышала крик Хужи — взволнованный, радостный:

— Каракоз-а-па-а-а! Каракоз-а-па-а-а! — Через секунду он показался наверху, размахивая руками. — Каракоз-апа, вам письмо-о!

Каракоз оступилась, упала, больно ударившись о камень, тут же вскочила и, прижимая к груди пучок мяты, припустилась бежать что было сил. Рыжий Хужа бежал рядом с ней, возбужденно рассказывая:

— Почтальон сказал, что даст только вам в руки, лично! Я говорю ему: «Дайте мне, я ее братишка!» Не согласился... Это от него, наверное, от Гаибназара-ака! Да здравствует Гаибджан, герой нашего кишлака-а-а!

На поле жнецы окружили старика почтальона тесной толпой. Все ждали новость — горестную или радостную, важно, что это была новость с фронта. Задышающаяся Каракоз бежала к почтальону, расталкивая людей, ничего не видя вокруг.

— Вот я, вот я; отдайте! — бормотала она пересохшими губами.

— Это заказное письмо, распишись вот здесь, — сказал почтальон, протягивая Каракоз какую-то бумагу и смачивая слюной толстый красный карандаш.

Каракоз, невидящим взглядом уставясь в бумагу, дрожащей рукой расписалась там, куда ткнул пальцем старик. Потом схватила письмо и, прижав его к груди, бросилась в сторону.

— Каракоз, подожди! Может, не от Гаибджана письмо, может, по-русски написано! — наперебой закричали ей жнецы. — Открой конверт.

Она остановилась, опасливо огляделась вокруг, слов-

но кто-то мог отнять у нее письмо, и судорожно рванула край конверта.

— По-русски написано... — беспомощно проговорила она.

— Пойдите, я мигом за Исматом-арбакешем сбегаю! — вскинулся Хужа. — Он здесь, на соседний ток снопы повез! Сейчас!

Каракоз кивнула, посмотрела на подпись: «Майор Русов». А в голове у нее стучало: «Не похоронка, не похоронка, а письмо. Значит, жив. Жив!»

Подошел Исмат-арбакеш, решительно, по-хозяйски взял письмо из рук Каракоз и стал громко читать, воодушевленно ставя в конце каждого предложения восклицательные знаки:

— «Уважаемая сестренка Каракоз! Я пишу вам из госпиталя, в котором лечится ваш Гаибназар! — Исмат-арбакеш гордо взглянул на собравшихся жнецов, откашлялся и продолжал читать: — Чувствую, что вы с нетерпением ждете от мужа письмо, переживаете, думаете о нем день и ночь. Мы обязательно победим. Потому что в нашей армии сражаются такие бойцы, как ваш Гаибназар. Он был тяжело ранен, но сегодня уже открывает глаза и все смотрит в окно госпиталя. Наверное, соскучился по вашему жаркому солнцу. Я показал ему жестаи, что напишу это письмо, он кивнул: «Да». Не отчаивайтесь, верьте в победу, она придет обязательно. Гаибназар вернется, но пока вы должны работать за него! Только общими усилиями мы одолеем проклятого фашиста! С уважением, командир роты майор Русов».

Исма-арбакеш торжествующе глядел на сотрясающуюся в беззвучном плаче Каракоз. Все молчали, наконец кто-то громко и отчаянно захлопал в ладони. Это был Хужа. И все сразу шумно заговорили, стали поздравлять Каракоз.

— Товарищи! — энергично рассекая воздух сжатым загорелым кулаком, воскликнул Исма-арбакеш. — Вы слышали все, что написал командир! На эти слова от-малчиваться нельзя! Только общими усилиями мы одо-леем фашиста! Я предлагаю выполнить сегодня двойную норму работы! Что скажете?

— Правильно говорит!

— Приналяжем, одолеем!

— За работу, друзья!

Спрятав драгоценное письмо в карман жилета, счаст-

ливая, окрыленная, Каракоз не замечала ничего вокруг. Только взмахи серпа и колосья пшеницы. Зашло солнце, потемнели склоны Ойкора, на Коккутане зажегся костер чабана. Луна окрасила желтое пшеничное поле в цвет тусклой латуни. Люди все не уходили с поля, и казалось, что их работе не будет конца.

Ветер гнал волны пшеницы до самых склонов Ойкора, это было похоже на морские валы, разбивающиеся о прибрежные скалы. Над полем стоял скрип арб, разноголосый говор жнецов, шум близкой воды, и где-то недалеко протяжно и скучно выл волк. В ответ в кишлаке заливались воинственным лаем псы.

Наконец, уже в густеющей темноте женщины сдали серпы старшему на току, бросились к кувшинам с водой, споря, кому первому умыться. Идущую с поля Каракоз догнала веселая Гуландом и ласково обняла за плечи. Каракоз, словно очнувшись, взглянула на нее и, улыбаясь, предложила:

— Пойдем через Дуланазар?

— Что вы, медведи нападут! — испуганно сказала Гуландом.

— Откуда медведи на Дуланазаре! Они только на Кизилташе встречаются.

— Да ну, боюсь...

— Чего боишься? Смотри, луна светлая, прозрачная, вечер такой теплый.

— Все равно боязно. Вон Хужа! Если он пойдет с нами, тогда, пожалуй... На Дуланазаре, бывает, и дурные чабаны встречаются.

— Ну, крикни ему...

— Хужа-а! Эй, пайнька! Пойдешь с нами через Дуланазар?

Хужу не надо было звать дважды. Радостно улыбаясь, он со всех ног помчался к Каракоз.

Когда они спускались к Дулансаю, в лица их влажно и успокаивающе задышала прохлада горной реки, струистые воды которой осторожно и властно увлекали за собой длинные ветви плакучих ив.

— Здравствуйте-е, го-о-о-оры-ы! Он жи-и-ив! Он вернется!

Прогрохотало эхо в горах, покатилося вверх по ущельям, в свободное темное небо, перекликнулось несколько раз само с собой и смолкло.

Гуландом и Хужа с восторженным удивлением смотрели на Каракоз. Сейчас она казалась им сказочной и

сильной, как эти древние горы, и они преданно ждали ее повелений.

По узенькой спирали тропинки, держась за ветви арчи, они добрались до реки. Каракоз припала к знакомому боярышнику, прижала пересохшие губы к его бугристому стволу...

— Спасибо тебе, родной, уберег его от смерти, — бормотала она. — Дай аллах тебе быть всегда цветущим! Вот вернется он живым и здоровым, мы придем к тебе вдвоем и повесим на твои ветки венки из мяты...

Гуландом и Хужа молча переглядывались, следя за ее действиями. Вдруг Каракоз вскочила, нагнулась к реке, набрала в пригоршню воды и метнулась к боярышнику.

— Вот так... вот так... — приговаривала она, поливая водой землю вокруг ствола.

И Хужа тут же, сняв с головы тюбетейку, бросился ей на помощь. Потом, водрузив на голову тяжелую промокшую тюбетейку, стал камнем прорывать от реки арычек в сторону боярышника.

— Искупаемся, а? Каракоз-апа? — задорно воскликнула Гуландом и, смеясь, велела парню: — Иди купайся ниже, только не удери совсем.

Хужа смущенно отвернулся и побрел вниз по берегу реки.

Гуландом разделась и — угловатая, с выпирающими ребрами и ключицами, — взвизгнув, разом села в воду по самую шею. Она ухватилась за свисающие ветви ивы и крикнула:

— Каракоз-апа! Сюда! — и махнула длинной худой рукой.

Ледяная вода жгла разгоряченное тело, сильно увлекала течением вниз, так что приходилось цепляться за ветви. Через несколько минут Каракоз выбралась на берег и, чувствуя спиной и плечами теплое дыхание нагретого за день воздуха, оделась. Гуландом все еще плескалась в темноте длинной белой рыбой. Метрах в двадцати от них ниже по течению лежал на спине Хужа, пытаясь удержаться в воде.

— Э-эй, бесстыдник! — крикнула ему Гуландом и бросила в него камешком. — Вставай, чего разлегся на мелкоте?

Хужа вяло перевернулся на живот и приподнял голову.

— Не приставай! — откликнулся он.

Тогда в него полетела целая пригоршня мелких речных камней.

— Вставай, бесовестный! Смотрите-ка, лежит, не стыдится!

— Не бросай камни, сказано тебе! Прежде не стеснялась купаться с ребятами, а сейчас очень стыдливая стала!

...Каракоз сидела на берегу, перебирая мокрые пряди длинных волос, слушала веселую перебранку Хужи с Гуландом и думала о том, что вот такими же были и они с Гаибназаром — кажется, вчера все это было, а вот уже не повторится, не догнать, не вернуть...

Потом они возвращались в кишлак мимо мельницы. Сверху на мельницу с каменных вершин падала вода, и она была похожа на шалаш, присыпанный снегом. И далеко вокруг не было слышно ничего, кроме мерного шума падающей воды. Чуть ниже мельницы протекал сай, который и делил кишлак на две почти равные части. На воде этого бурного сая работали еще четыре мельницы в соседних кишлаках. В жаркие летние дни, в горячую пору ухода за посевами, из-за воды то и дело разгораются споры. Тогда колхозы избирают мираба — полновластного общественного хозяина воды, который и распределяет ее всем поровну.

Каракоз улыбнулась, вспомнив, как до вечера, бывало, носился Гаибназар, потный, усталый, в штанах, закатанных до колен. Подводил воду к полям. Для этого он бегал за мирабом целую неделю, выпрашивал воду для двух хозяйств — своего и Каракоз.

Уже подходя к кишлаку, она увидела на холме Русского одинокую фигуру матери, встречающей ее, и сразу стало совестно, что заставила долго ждать, не поспешила домой с радостной вестью. И Каракоз бросилась к матери, обняла ее.

— Мамочка, письмо от командира! Наш Гаибджан в госпитале, жив, но тяжело ранен. Лечится.

— Знаем, доченька, знаем... Арбакеш Исмат заходил, рассказывал. Только все давно домой вернулись, а тебя нет и нет. Забеспокоились мы с Ташбуви. Дай, думаю, встречу...

— А мы с Гуландом через Дуланазар пошли, вот и получилось дольше...

Она, радостно возбужденная, пересказывала матери содержание письма, а та все плакала, и благослов-

ляла неизвестного ей русского майора, и гладила дочь по голове, любуясь ее юным прекрасным лицом.

Костры чабанов на склонах Ойкора бросали красноватые мрачные отблески, и при внезапном взгляде могло показаться, что горы объяты пламенем.

## Глава двенадцатая

Жатва заканчивалась, а рабочих рук все не хватало. Председатель колхоза заходил в каждый дом, убеждал невесток, дочерей выйти на работу, помочь.

Маленького Отакузи пришлось отдать в спешно организованные ясли. И Ташбуви, и Энакиз работали теперь в поле вместе с Каракоз.

Прошло несколько недель, как получили письмо от майора Русова, а от самого Гаибназара вестей все не было. И вновь в голову Каракоз приходили беспокойные страшные мысли, и она представляла себе Гаибназара, умирающего от ран на госпитальной койке. Вдруг он умер, а майор выписался и поэтому не может написать ей? Или просто не хочет убить ее этой страшной вестью... Который день почтальон проходил мимо дома Каракоз...

Часто на поле за работой женщины затевали разговоры, от которых испуганно замирало сердце. Особенно старалась Мастоно: наверное, не забыла еще то оскорбление, какое нанесли ее сыну.

— Такое время сейчас, — заговаривала она с какой-нибудь жницей, работающей рядом. Да так громко, чтобы слышала Каракоз. — Не знаешь — жив человек или погиб уже. Может, ты еще жена, а может, уже вдова...

— Не говори, Мастоной, — подхватывала другая, — сколько их будет после войны, вдов!

— Это ведь как бывает, — продолжала Мастоно, не глядя в сторону Каракоз. — Умрет человек от ран где-нибудь в тыловом госпитале, а им и дела мало. То ли отпишут бумажку, то ли не отпишут. А может, и отпишут, да она в пути затеряется. Их теперь много, этих бумажек, по почте ходит...

— Много-ого, — со вздохом вторила другая.

Вдобавок ко всему заболел Отакузи. Два дня он метался, не мог уснуть, плакал. Ночью Каракоз вскакивала от его хриплого плача, с ужасом щупала детский ло-



бик — горячий, сухой. Но фельдшер уехал по делам в район и вернуться должен был дня через три, не раньше. Целыми днями Каракоз заваривала ребенку травы, поила его молоком с медом — ничего не помогало.

На четвертый день, завернув Отакузи в старенькое одеяло, Каракоз и Ташбуви повезли его в районную больницу. Мальчик уже не плакал. Только отекшие губы его подергивались и слабо шевелились пальчики.

К полудню они добрались до больницы. Хмурый — огромная глыба в белом халате — доктор, осмотрев ребенка, повернулся к бледной, измученной Каракоз.

— Вы имете образование?

— Да... Закончила семилетку...

Он насупился, задвигал желваками на небритых щеках.

— Учились, все понимаете, почему раньше не принесли ребенка? Или не предполагали, что это опасно?

— Доктор... — сдавленно выговорила она.

— К мулле, к знахарке небось носили? А к фельдшеру не удосужились?

Каракоз хотела сказать, что фельдшера в кишлаке не было, но не сказала ничего, только прижала к лицу одеяльце и затряслась в рыданиях.

Возле Отакузи суетилась молоденькая медсестра — совсем девочка, похожая на Гуландом.

— Доктор... он поправится? — подняла на врача умоляющие глаза Каракоз.

Тот ничего на это не ответил, только осторожно накрыл ребенка одеяльцем.

— Останетесь с мальчиком здесь, — сказал он. — Будем делать все возможное, но ничего обнадеживающего я не могу вам обещать...

...Через два дня на старом сельском кладбище возле одинокой отцовской могилы появилась еще одна — маленькая могилка...

Жить в этом доме стало невыносимо. Безжалостные души Отакузи и Гаибназара днем и ночью мучили Каракоз, а причитания Ташбуви разбивали ее сердце.

— Твой приход обернулся несчастьем для моего дома! — стонала Ташбуви, не в силах скрыть отчаяния и страдания. — Не сохранил господь ребенка моего сына... Правду говорят, что единственная дочь бывает несчастливой...

Не выдержав ее причитаний, вида пустой детской калочки, Каракоз ушла в дом к матери. Страшно было

смотреть на Энакиз. За какую-нибудь неделю она постарела, казалось, на десять лет — глаза ввалились, плечи совсем сгорбились, руки подрагивали. Но больше всего ее убивало странное состояние дочери. Каракоз не плакала — безучастно смотрела на все вокруг блуждающим равнодушным взглядом. Часто среди ночи она вдруг вставала и быстро одевалась, точно собиралась идти куда-то далеко.

Мать, простоволосая, перепуганная, ласковым дрожащим голосом уговаривала ее, просила, объясняла, а потом насильно укладывала Каракоз в постель. После смерти Отакузи она не заговаривала ни с кем, даже с матерью. Так прошло недели две, пока наконец соседские женщины не увели Каракоз на жатву.

«Среди людей горе призабудется, — подумала Энакиз, с тревогой глядя вслед дочери. — Может, полегче ей станет...»

Заканчивалась жатва на полях Заркамара. На участках, очищенных от соломы, кишлачные ребятишки уже собирали колосья. Август стойким жаром обжигал склоны гор, расстилающиеся далеко вокруг поля, покрывал загаром лица и руки жнецов.

Каракоз хотела одиночества. Она работала словно в полусне, сторонясь женщин, лишь изредка коротко отвечала на сочувственные вопросы Гуландом. Рядом с ней все время крутился Хужа, стараясь хоть чем-то помочь Каракоз. И это видели женщины, обездоленные войной, обойденные мужской лаской, многие вдовы, невесты, потерявшие женихов. И негромко переговаривались между собой, бросая в сторону Хужи и Каракоз недобрые взгляды.

Время от времени надо было идти к саю, набирать воду в большой, с высоким узким горлом глиняный кувшин. Каждый ходил за водой по очереди. На этот раз, когда пришла очередь Каракоз, Хужа отвозил на ток снопы, и, довольная тем, что немного побудет одна, Каракоз подхватила кувшин и побрела к саю.

Когда спускаешься с поля к реке, голову дурманит запах мяты. Здесь прохладно, несмотря на жаркий полдень, и если поднять голову, то и небо, и плывущие по нему невесомые облачка кажутся тоже прохладными, спокойными...

Каракоз присела на краешек валуна на берегу сая и задумалась. Впервые со дня смерти сына она осталась одна. И как же ей захотелось плакать, плакать долго

и горько, может, тогда в ее груди хоть немного полегчало бы... Но слез не было, и только камень давил на сердце, становясь с каждым днем все тяжелее и тяжелее.

Она наклонилась к реке и, зачерпнув воды, быстро умыла лицо, выпрямилась. Потом наполнила кувшин водой и нехотя двинулась в гору. Сверху от чьих-то шагов посыпались камешки, и она вскинула голову. Это быстро, горопясь, вниз спускался Хужа.

— Каракоз-апа! — Он тяжело дышал и с укором глядел на нее. — Зачем вы сами за водой пошли? Я бы мог сбегать. Дайте кувшин.

— Не надо, Хужаджан, — с трудом проговорила она. — Не надо ходить за мной... Мне так тяжело... Оставьте меня в покое... — Голос ее задрожал, горло словно сжал кто-то цепкой рукой. Каракоз выронила кувшин, он покатился вниз, к реке. Она рухнула на землю и зарыдала громко, отчаянно, будто прорвалась наконец в груди рана, и из горла неудержимо, как кровь, хлынули рыдания. — О аллах, о аллах, зачем я осталась жить?! Прости меня, Гаибджан, прости, если ты жив, не сберегла я нашего Отакузи... Вернешься ли ты сам? Когда же ты вернешься, Гаибджан, скажи?! Нет у меня больше сил, нет сил жить, неужели нет тебя уже на свете?!

— Каракоз-апа... Каракоз-апа... Успокойтесь... Ради аллаха, успокойтесь... — беспомощно бормотал Хужа дрожащими губами, стоя над бьющейся в рыданиях Каракоз и не зная, чем помочь ей. Наконец, наклонившись, Хужа обхватил Каракоз, стараясь приподнять ее. — Каракоз-апа, встаньте, не надо убиваться так страшно... Земля холодная, простудитесь...

В это время наверху показалась одна из женщин. Это была Мاستон. Странно улыбаясь, она глядела вниз.

Слезы Каракоз застыли на лице ледяными каплями. И все тело обдало холодом.

Молча она карабкалась вверх. За ней, растерянный, потрясенный, держа за ручку пустой кувшин, поднимался Хужа. Не отрывая глаз от земли, Каракоз шла к работающим.

— Слишком молодого нашла, а? — ядовито улыбаясь, громко сказала Мастон.

— Что же ей делать, с мужем-то всего две недели и пожила! — вступила в разговор другая, словно Каракоз не существовало рядом.

— А она и сама не знает, на каком свете находится, — добавила Мастон, — вдова не вдова, а что-то вроде этого... Не пишет он ей... Вот она и гуляет... Ишь, даже воду забыли в кувшин набрать, бесстыжие!

Эти слова все звучали в ее ушах, когда, не помня себя, она добежала до Мажнунтолсая. На небе сгушались тучи, мрачные черные покрывала, — собиралась первая за лето гроза. Сердце Каракоз бешено колотилось, и в голове не осталось ни одной мысли, кроме той, которая гнала ее все дальше и дальше — к далеким ледникам, вверх, вверх, навсегда...

А вот и боярышник... Вот он... Она прижала плающее лицо к его корявому стволу. Остановилась на мгновение. Не спас, не уберег... Гаибназара нет в живых, а ее имя бесчестят... Чтобы оправдаться, есть только один путь. И она его знает...

Ствол боярышника поцарапал ей в кровь лицо и руки. Она взбиралась на вершину Учкул, оставляя капли крови на ветках арчи, за которые цеплялась, на камнях. Не чувствуя усталости, она поднималась все выше и выше, и с каждым метром ей казалось, что позади она оставляет горе и позор и становится легкой и счастливой навеки.

Где-то внизу, в горах, мрачных от тяжелых теней, которые волочили за собой тучи, звучал чей-то испуганный зов:

— Каракоз-апа-а-а! Где вы-и?!

Эхо разносило и множило этот зов, перемешанный с плачем, и Каракоз испугалась, что ее найдут, настигнут. Кто это? Это он, Хужа? Голос слышался с Кизилташа. Что он делает там, безумный мальчик, его же медведи разорвут!

Она уже была близка к снежной вершине Учкул. Отсюда с каменной террасы виднелась пещера медведей на Кизилташе. И там, столпившись у края пропасти, стадо медведей сбрасывало вниз камни. Падающие камни тревожили другие, и вот уже за грохотом не стало слышно голоса Хужи. Ломая на лету молодые деревья, камни падали в сай. Наконец медведи стали медленно спускаться вниз...

Каракоз закричала, и крик ее смешался с глухим рокотом грозы. Пошатываясь, озаренная яростным блеском молний, она пошла в сторону ледников.

Прощайте, горы! Когда все люди на земле станут любить друг друга, когда исчезнут войны, горе и несправедливость, разбудите нас от вечного сна! И мы со словами «Здравствуйте, горы!» родимся заново — юными и счастливыми. Мы заживем другой, прекрасной жизнью, когда исчезнет вражда между людьми! Она взобралась на вершину ледника — частые злые молнии озарили горы, и казалось, что ледники объаты пламенем. Страшный свет плясал на снегу при вспышке молний. Загремел оглушительно гром, содрогнулись горы, с вершины сдвинулась с шумом снежная лавина.

Объятая ужасом, Каракоз вдруг поняла, что сотворила, и рванулась назад к жизни. Изо всех сил ухватилась за ветку арчи, торчащую из наста...

Снежный обвал сровнял все...

Небывалый ливень обрушился на селения и продолжался несколько дней. С гор прошел сель, разрушая русла рек, выкорчевывая деревья. Снежные шапки на вершинах уменьшились, осели... И хоть осень еще не пришла, Дуланазар щедро осыпал листья. Вековые ледники печально таяли...

Сложенная о ней песня начинается так:

Твой след мы искали в горах,  
В ущельях выкрикивали имя...  
А ты не нашлась, Каракоз,  
Не отозвалась, Каракоз,  
Ветры пропели, что ты на Ойкоре,  
Сказали: успеете, пока жива...  
А мы не успели, Каракоз,  
Мы не спасли тебя, Каракоз,  
Ты покинула нас, как Покиза,  
Вечно свободная, вечно юная...

Каракоз пришло письмо от Гаибназара. Пишет, что вылечился, снова воюет, надсется скоро вернуться и укроет: так и не ответила Каракоз на его давние стихи. Или забыла их?..

Чернее черного твои глаза,  
Мучают мое сердце.

Пушистые твои ресницы  
Не скроют этих глаз...

...А может, и вправду, прожив эту жизнь на земле, через семь или четырнадцать поколений мы родимся заново, и встретимся, и будем счастливы?.. Кто знает... Так говорила бабушка Нозик, а она, как известно, говорила всегда только сущую правду.